*А. С. Демин*

# ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА XI–XVII вв.

Наивно, но верно: древнерусскую литературу мы изучаем, чтобы лучше ее понимать. Стремление к пониманию – это основная наша потребность.

В настоящее время существуют три взаимосвязанных, но все-таки различающихся направления, или уровня, в изучении (понимании) древнерусской литературы; просто назову их, не вдаваясь в большие пояснения: 1) источниковедческое направление, самое традиционное и самое востребованное поныне; 2) идеологическое направление, зарекомендовавшее себя давно и очень почитаемое сейчас тоже; 3) эстетическое направление, сравнительно еще новое и не слишком популярное у исследователей из-за его недостаточной разработанности.

Об эстетическом направлении (понимании эстетики памятников) скажу чуть подробнее. При чтении древнерусских литературных памятников мы обычно в первую очередь получаем эстетические впечатления, а рефлексируем уже более или менее потом, особенно тогда, когда впечатления от чтения не соответствуют нашим ожиданиям или расхожим представлениям о памятнике. Ожидали одно, а получили другое. Например, ожидали ясно выраженного патриотизма от памятника, а столкнулись с крайне невнятным изложением. Вот почему самое главное для русиста-медиевиста эстетической направленности – это изучение реально проявившегося литературного творчества древнерусских авторов, то есть манеры (формальной и смысловой струк-

туры) повествования, принятой в памятнике. Через повествовательную манеру гораздо тоньше раскрываются литературные традиции, авторские цели, идеи и представления, чем при систематизации прямых высказываний автора на этот счет. Именно эстетическое изучение (понимание) произведений позволяет нам точнее всего предупредить нынешних читателей о том, чего следует ожидать от древнерусской литературы.

Как все это удается связать и понять, конечно, с разной степенью полноты, глубины и обоснованности, можно увидеть из предлагаемой статьи, составленной из десяти недавно написанных мной очерков о повествовательной манере нескольких древнейших переводных памятников, а затем памятников оригинальных — «Слова о Законе и Благодати» Илариона, «Жития Феодосия Печерского» Нестора, «Слова о полку Игореве», «Слова о погибели Русской земли» (в двух очерках — третьем и пятом), «Жития Александра Невского», «Задонщины» (в двух очерках — в пятом и десятом), «Псковской второй летописи», «Хронографа 1512 г.», «Степенной книги», «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков»*. Благодаря серии очерков становится заметной эволюция принципов древнерусского литературного повествования, хотя общая картина получается еще очень отрывочной, тем более что нередко манера повествования не так уж отчетлива, а ее связи с целями, идеями и представлениями автора и с исторической обстановкой недостаточно ясны.

## 1. Семантика перечислений в литературе XI — начала XII в.

### *Некоторые переводные произведения*

В древнейших памятниках очень часто использовалось всепроникающее и, оказывается, семантически разнообразное литературное средство — перечисления. Рассмотрим лишь наиболее интересные случаи, начиная с беглого обзора произведений переводных и перечислений самых архаических, составивших некий исходный фон литературных образцов для древнерусских авторов.

В так называемой хронографической «**Александрии**» перечни, по нашим наблюдениям, архаичнее всех: они еще сохранили внелитературные корни, как бы не оторвались от торжественных хозяйственных описей и указывали только важнейшие части того или иного значительного объекта. Например, описывалась драгоценная «дщица»: «златомъ и сланомъ обложена, имеющи звездъ 7 и чястныи стражь, солньце же и луну, солнце же убо крустално, а луна адаматина, другыи нарицаемыи Зеусъ въздушныи, другыи же Кронъ змиевъ, Афродитъ самъфирова» и т. д.[1] – опись называла только самое важное у знаменитой «дщицы», потому что всего ее состава, как оговаривалось тут же, «слово указати не можеть». Так же описан далее царский дворец – только важнейшие части его обстановки, потому что «от множества не можемъ исказати великия доброты их» (110).

В «Александрии» встречалось немало таких семантически аналогичных перечислений, содержавших обозначения целого и лишь его важнейших частей: «*зверие* ихъ суть: тигры, лвове, слонове, буяюще своею силою» (81) – перечислены не все звери некоей опасной местности, а только самые сильные; или: «*имение* наша есть земля, древа плодоносная, светъ, солнце, луна, звездъныи ликъ и вода» (85) – указаны только крупнейшие части просторного «имения» бескорыстных рахман; или даже без обозначения целого: «и бяше видети везде огнь, и камение, и стрелы, и сулица испущаа» (52) – упомянуты самые смертоносные орудия битвы, лишь подразумеваемой, но не названной в этой фразе. Все это элементы достаточно простого и безыскусного изложения. Так, по крайней мере, они выглядят в переводе «Александрии».

Совсем иное впечатление производят перечисления в «**Слове о царствии язык последних времен**» (или «Откровении») Мефодия Патарского. Перевод «Слова» Мефодия Патарского содержал в абсолютном большинстве даже не перечни, а парные сочетания родственных понятий, которыми повествователь лаконично обозначал всю полноту состава того или иного явления. Например, когда говорилось о том, что мужи, одевшись в женские ризы, «по стьгнамъ града ходяще и по торжищемъ пред *всими*»[2], то, судя по оговорке «пред всими», парное сочетание стогн и торжищ подразумевало весь град полностью, со всеми его жи-

телями. Или когда повествователь предрекал, что, очевидно, в города «дивии осьлии приидут и сьрны от пустыня, и *всяк род звеpинъ* узрят человеце» (277), то подразумевалось нашествие всех видов диких зверей, полностью «всяк родъ зверинъ», а не только ослы и серны. Когда рассказчик пророчил, что род измаилтян «в руце цесаря грьчьска преданъ будеть оружиемъ и примучениемъ, и будеть *ярьмъ* грьчьскъ сьторицею на них» (279), то сочетанием «оружие и примучение» рассказчик обозначил вообще весь состав насилий, который и обобщил понятием «ярем»; когда повествователь предупредил, что измаилтяне «наругатися начнуть и насмивати ходящиимъ по Божии заповеди *уродскыими и буими беседами*» (276), то опять-таки парой глаголов «наругатися и насмивати» обозначил все виды многообразных оскорбительных речений, то есть «уродскых и буиих бесед» измаилтян по отношению к христианам. В «Слове» Мефодия Патарского содержится огромное количество парных перечислений, демонстрирующих архаический лаконизм в характеристиках явлений, литературную ценность изложения.

Парные сочетания с их семантикой входили, наверное, в самый архаичный пласт собственно литературных средств (ср. «стилистическую симметрию» — особенно псалмов)[3], но глубина их архаичности уже колебалась в переводе «Слова» Мефодия.

Система парности содержала заметные нарушения в переводе «Слова» Мефодия Патарского. Многие пары превратились в формулы, которые имели гораздо более узкий смысл. Например, формула «человеци и скоты» уже не означала «все живое от человека до скотов»; ее смысл теперь: «все люди». Когда повествователь писал, что «скончается печаль на человецехъ и на скотахъ, и будуть гладъ и смерть, измждають человеце и распрашатся, акы персть, по всеи земле» (278), то он имел в виду только людей и даже забыл об условно упомянутых скотах. Если же требовалось обозначить все живое, то к формуле «человеци и скоты» делались разные прибавки: «пущенъ есть по всеи земле на человекы, и на скоты, *и на звери...*» (275), «и будуть вси под властию: и человеце, и скоти, *и птица небесныа...*» (276).

Отдельные парные сочетания не содержали однородных понятий и семантически соотносились с иными повествовательными формами. Так, перечисление «падуть въ гресехъ и во смраде»

(276) соотносилось с определительным словосочетанием «падут в смрадных грехах»; перечисление «одержими будуть вси молчаниемъ и страхомъ» (276) тяготело к причинно-следственному высказыванию «одержимы будут все молчанием из-за страха».

В переводе «Слова» наличествовали также перечисления фактически единичных элементов, которые только по формальной привычке перечислялись парами (например, «мучителе воеводы, их же имена си суть: Ориивъ и Зивъ, Изееве и Салмона» – 271).

В переводе «Слова» и внешняя парность в перечнях местами начала разрушаться, и между парами стали внедряться одиночные элементы. Так, описывалось «приношение ко святымъ: любо злато буди, любо сребро, любо камение честное, любо медь, любо железо, любо ризы, любо честнеи хлеби темъ летию будуть» (276) – золото с серебром и медь с железом образовывали пары, но в одиночку стояли камение, ризы, хлеба. Интересно, что в болгарском списке 1345 г. «Слова» Мефодия (а «Слово» пришло на Русь из Болгарии) вместо одиночного словосочетания «честнеи хлеби» присутствовала, возможно, первоначальная пара: «и брашна вьсе и сънеди честнии» (221).

Самым же распространенным в древнейший период являлся несколько иной смысл перечислений. Во многих переводных произведениях перечисления были довольно длинны и означали не просто полноту, но исчерпанность всех разновидностей или частей явления. Очень много таких перечислений в Евангелии. Например, Евангелие от Матфея, V, 44, по **«Архангельскому Евангелию»**: «*любите врагы* ваша: благословите кльнущая вы, добро творите ненавидящиихъ васъ, молите за творящая вамъ напасти, изгонящая вы благословите»[4] – под врагами подразумевались как бы все возможные виды врагов: клянущие, ненавидящие, творящие напасти, изгоняющие; так же и в понятие «любити» вошли как бы все проявления любви: благословлять, добро творить, молить за любимого. Интересно, что приписка русского писца XI в. в «Архангельском Евангелии» содержала тот же вид перечисления, претендующий на исчерпанность: «отягъченъ грехы бечисльными... помышляя сластолюбие, похотение, свары, пьянство – просто рекъше, *вся злая*» (390–391), – писец подразумевал исчерпывающий список грехов, составляющих понятие «вся злая».

Принцип характеристики явления исчерпывающим перечислением его разновидностей или состава был провозглашен в **апокрифе о Енохе** — тот объявлял: «Тогда раздреши Господь векъ человека ради и раздели е на времена и лета, на месяци, и дни, и часы... И се, чада моя, азъ правлемая по земли промитая исписахъ, и лето *все* складохъ и часи деньнии, и часы размерихъ, и исписахъ *всяко* семя на земли, и изровновахъ *всяку* меру, и превесу праведну измерихъ и исписахъ»[5]. И далее: «И видехъ адъ отверстъ... и снидохъ, и исписахъ *все* суды судимыхъ, и *все* въпросы ихъ уведахъ» (22), «видите, азъ *вся* дела всякого человека написываю» (23). Так создавалось обстоятельное, солидное изложение.

Перечисления со значением исчерпанности всех разновидностей явления, сигнализировавшие об обстоятельности предлагаемого повествования, были распространены и в житиях, в частности в «**Житии Мефодия Моравского**», где, например, пояснялось, каким букетом качеств обладали слова и дела Мефодия: «ярость, тихость, милость, любъвь, страсть и търьпение — *въсе о въсячьскыихъ* бывая» — подчеркнут охват именно «всяческих» качеств[6]. Многие перечни в этом житии делали упор на «всяческость» перечисляемого; например, тело усопшего Мефодия провожали «мужьскъ полъ и женьскъ, малии и велиции, богатии и убозии, свободьнии и рабы, въдовиця и сироты, страньнии и тоземьци, недужьнии и съдравии — *въси* бывъшааго *въсячьско въсемъ*» (198). Или беды, в которые попадал блаженный, перечислялись как вездесущие и всеисчерпывающие: «На *въсехъ* же путьхъ въ *многы* напасти въпадъше от неприязни: по пустынямъ — въ разбоиникы, и по морю — въ вълъны ветрьны, по рекамъ — въ съмьртьны незапьны» (197).

Перечисления со значением исчерпанности проникали всюду, в том числе в повести. Оттого вставки во вторую редакцию «Александрии» отличались уже иным характером перечней, обозначавших в отличие от первой редакции не важнейшие части целого, а исчерпанность его разновидностей или состава, хотя части перечислялись не буквально все. Так, во вторую редакцию «Александрии» было включено сочинение Палладия Еленопольского «**О рахманех**», где автор сообщал, что у рахман «несть четвероножиць, ни оратвы, ни железъ, ни здания, ни огня, ни пло-

да, ни вина, ни ризы, *ни иного ничто* же, еже на дело прекланяется или на наслаждение бывающее» (109, ср. 200–201) — этим перечнем автор как бы исчерпал все в материальной жизни. Иногда для исчерпанности автору было достаточно перечислить три элемента: «имамъ *все* — землю, воду, въздухъ» (117); а бывало, автор по-старому ограничивался и двумя элементами, означавшими все целое: «влъковъ же и лвовъ и *всехъ* зверии горши есте вы» (125) — «все зверии», а упомянуто лишь два. В прочих вставках во второй редакции «Александрии» перечни также имели то же значение исчерпанности.

Однако указанными видами перечислений («наполняющими» и «исчерпывающими») дело не ограничивалось. Так, «**Хроника**» Георгия Амартола более чем обильна перечислениями. Судя по переводу, повествователь бесконечное число раз употреблял парные сочетания, традиционные по семантике, однако не менее часто использовал уже троичные сочетания, притом с обобщающими словами, которыми обозначал некие расширенные, более крупные явления, чем следовало из самих перечислений, что не свойственно только «наполняющей» семантике парных сочетаний. Например, в перечислении «мужеубиица и тати прочая *безаконьствующая*»[7] повествователь имел в виду не только совокупность разного рода разбойников, как это обозначило бы парное сочетание («мужеубиица и тати»), но всех преступников вообще, что и раскрывал третий, обобщающий элемент перечисления («безаконьствующая»). Так же в перечислении «на пустошство учя цесаря, на безаконие и *злобия* все» (537) расширяющий смысл перечисления раскрывал третий, обобщающий его элемент — не отдельные нарушения, но все злое.

Расширяющий смысл троичных перечислений поясняли также обобщающие слова в окружающем контексте этих перечислений. Например, описание весны: «начинаемуся еару, рекше *весне*: земля прозябаеть зело траву, и пажити цвьтуть, и древа ражають плоды» (220) — не просто земное изобилие, как следовало бы из парных сочетаний, а больше того — весна. Или: «начать скорбети, и улютати, и тужити, и съ унынием ж и т и я с и р а з р у ш и» (103) — не просто огорчение, но погибель. Нередко обобщающие слова указывали на расширенный количественный смысл троичных перечислений: «пришедъшю ему в Египетъ въ *силе*

*тяжьце* — на колесницах, и на слонех, и вои многыми» (200) — не просто войско, но «сила тяжка». Или: «имеюще с собою *множество много* от цесарскых дружинъ, и от гридеи, и от чиновъ» (554) — не только отборные воины, но таких «множество много».

В переводе «Хроники» были также нередки уже не троичные, а довольно длинные перечисления, тоже с расширительным смыслом и соответствующими обобщающими словами. Например: «...недугъ приимъ, различными страстьми разделяше: огнь бо силенъ бе, сварбъ же бещисльныи по всему телу и по лицю, и въ оходъ беспрестани страсти, и на ногу струпи смердящии, утробе же горящи, и сраму гниющю черви испущаше, и къ симъ простодушья и злодушья растерзание всемъ удомъ его бяше, и скверный смрадъ из устъ его исхожаше воину... толику имяще *болезнь* нестерпиму» (216) — в результате, это не просто недуг, а «болезнь нестерпима». Наиболее частым смыслом длинных перечней, бывало из 10—20 и более элементов, являлся смысл количественный: мол, чего-то чрезвычайно много; поэтому завершались такие перечисления словами «и прочии прочая», «много же множаише», «и ина многа и различна и бесчислена» и т. д. Стремлением к масштабности повествования и были порождены подобные «расширяющие» перечни.

«Наполняющая», «исчерпывающая» и «расширяющая» семантика перечислений не всегда резко различалась и вполне уживалась даже в границах одного и того же произведения, объединяя манеры литературного изощренного, обстоятельного и масштабного повествования.

Более редкой семантической особенностью (тоже не очень четко отсекаемой от других смыслов) отличались перечни в переводном «**Мучении Иринии Мегидской**», содержавшем немало традиционных парных сочетаний, однако большинство перечислений в переводе «Мучения» являлось некими сюжетами, историями, перечисляемые качества неудержимо переходили в действия. Например: принесено к Иринии «отроча 6 лет, утрапиво и зело исъхло, исхожаху бо ему из ноздрии чьрьвие съ гноемъ, врежена ему слуха, немо и глухо, и отинудь вьсеми болезньми одьржимо»[8] — в этой фразе перечень обозначил как бы осмотр отрока целительницей («видевъши же е святая... възьмъши

отроча въ руце»). Такое же движение к сюжету наблюдается, например, в описании красоты Иринии: «лепа и прелепа видениемь и красьна телъмь, яко чюдити ся вьсемъ человекомъ о доброте ея» (135) — изложение не замыкается на статическом перечислении «доброт» царевны, но упоминает взирание на красоту («цесарь же видевъ, яко доброта ея подобляаше ся лучамъ солнечныимъ»), реакцию взирающих («чюдитися... человекомъ», «цесарь... възвести цесарици» о красоте дочери и пр.).

При перечислении существительных в переводе «Мучения» особенно был отчетлив переход к действию, сюжету. Вот, например, осуждаются язычники: «*бысте лишающе* нищая, а врази Богу живому, слугы бесомъ, прелюбодеи, блудьници, льстьци и многымъ блазнителе, не престающе бо *свепепеете*» (139) — показательно, что начинается и кончается перечень приложений указанием именно действий, стремительно нарастают греховные устремления язычников, в этом заключается своеобразный сюжет этого перечня. Перечисление существительных нередко переходило в преобладающее перечисление глаголов: «ты еси сътяжание Божие и причьтъ творению Исус Христову, ты своего отца не *остави*, ты родителя из мьртвыихъ *оживи* и руку ему *ицели*» (144—145) — похвала превратилась в напоминание о чудесных деяниях Иринии, стала явно сюжетной.

В «Мучении Иринии» даже перечисление только одних существительных все равно имело сюжетный оттенок. Например: «Народи же видевъше безаконьныима погубление, и отрочати ицеление, и демону явление...» (154) — это краткое изложение предыдущих событий, рассказанных в житии. Или же: «Вънезапу же бысть въздухъ и съмятение, и быша мълния и громи, и боязнь велика» (149) — сюжет разворачивается прямо на глазах. Описание составных частей некоего сооружения превращалось в строительный сюжет: «помыслихъ... съзьдати стълъпъ, имущь покровъ 13 и двьри 13, одръ 6; окрьстъ же стълъпа быти стене, и да будут стрегущеи его; сътвориве... тряпезу злату и 3 чаше, и в нем же есть злато, и вьси съсуди... да будуть злати...; да будеть же и престолъ златъ и подъношение; вода же ключи въсходящи до 3 на десяте премостъ... да будуть же и сади различьни въ дворехъ имуще плоды цесарьскы...» (135—136) — столп последовательно обозревается извне, от входов и до внешней ограды, и изнутри,

от обстановки и столовых приборов в помещении до фонтанов и насаждений во двориках.

Сюжетны в «Мучении» многие троичные и даже парные сочетания, особенно глагольные: «седающи и едущи» (136), «не дивиши ли ся и трепещеши» (141), «очищаеть ся и хранить ся не съгрешати» (155) и пр. — развитие действия налицо в каждом сочетании. Сюжетны троичные и парные сочетания существительных: «бысть биение, и плачи, и сльзы» (137), «въздвигни на мя раны и принеси мучения» (158) — действие, несомненно, развивается. Сюжетными предстают и сочетания прилагательных: «имя твое велико и дивьно» (138), «горькъ и лютъ есть» (140), «мали дние твои и въскоре конець твои» (156) — как бы причины и следствия заключены в каждой паре.

Большие перечисления тем более сюжетны в «Мучении Ирини»; таково напоминание о сотворении мира: «Богъ же... сътвори небеса, солнце и луну, звезды, яже ищьте; основа великую стену земли; повеле водамъ тещи на службу нашю; дасть же и древа различьная...; сътворь же вься четвьрьногая, гады, пътица; съдела же человека...; положилъ есть... мълния на служьбу плодомъ землььнымъ; ...нарече свет день, а тьму нощь; положи годины, месяца, и времена, и лета» и пр. (140).

«Сюжетные» перечисления, по-видимому, были свойственны повествованию, стремившемуся к увлекательности.

«Сюжетная» семантика перечислений в переводных произведениях, наряду с «наполняющим», «исчерпывающим» и «расширяющим» смыслами перечислений, давала возможности для выбора повествовательных средств и манер изложения древнейшим русским авторам, которые тем не менее пошли своим путем.

### *«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона*

Русский материал уже можно рассмотреть поглубже, чем переводный, тем более что знаменитое «Слово о Законе и Благодати» Иларион, сочинитель духовный, очень идеологичный, но при этом литературно искусный, почти сплошь составил из перечислений буквально в каждой фразе.

Смысл перечислений у Илариона нередко не совсем тот, какой мы привыкли ожидать от перечислений нынешних. Так, в

выражении «крепокъ и силенъ Богъ»[9] мы привычно ищем цельный смысл, получающийся из сочетания двух синонимичных эпитетов, — то ли единое родовое понятие на основе видовых, то ли пояснение либо усиление одного понятия другим. Но ничего этого у Илариона не было. В действительности же Иларион в своем «Слове» был склонен обозначать сходные темы, мотивы в виде повторяющейся мозаики слов — это одна из особенностей манеры его повествования. Отрывок из похвалы Богу, выражение из которого приведено выше, посвящен принятию христианства народами: «Къ *живущимъ* бо на *земли* человекомъ... *приде*... да... познають *посещение* свое и Божие *прихождение* и *разумеють*, яко тъ есть... *крепокъ и силенъ* Богъ» (13). Обратим внимание на цепочку слов «живущий — земля — прийти — посещение — разуметь — крепкий и сильный». Вот похвала уже Владимиру Крестителю, а Иларион повторил в ней словесный набор, аналогичный предыдущей похвале (курсивом выделены повторенные слова): «Сии... Влодимеръ... *укрепевъ... крепостию и силою* съвершаяся... *живущю и землю* свою пасущу... *приде* на нь *посещение* Вышняаго... и въсиа *разумъ* въ сердци его, яко *разумети...*» (27).

Далее в «Слове» следует еще одна похвала Владимиру за крещение, и Иларион снова повторяет словесные элементы предыдущих похвал за крещение же: «славный — возмужать — крепость и сила — мужество — смысл — правда — разум — идольский — возгореть». Ср. первую похвалу Владимиру: «Сии *славныи*... Влодимеръ... *възмужавъ, крепостию и силою* съвершаяся, *мужьствомъ* же и *съмыслом* предъспеа ... землю свою пасущу *правдою, мужьствомь*, же и *съмысломъ*... и въсиа *разумъ* въ сердци его, яко *разумети* суету *идольскыи* льсти... *възгоре* духом...» (27). Ср. вторую похвалу: «...*славныи... премужьственыи*... почюдимся *крепости* же *и силе*... яко тобою... льсти *идольскыа* избыхомъ... друже *правде, съмыслу* место... *како разгореся* въ любовь Христову, како въселися въ тя *разумъ...*» (29). Повторявшиеся перечисления «крепокъ и силенъ», «крепость и сила» вместе с россыпью других повторяемых слов являлись у Илариона своего рода постоянно перебираемыми четками повествовательной темы о принятии христианства.

Указание мозаикой слов на ту или иную важную повествовательную тему — вот главная литературная цель Илариона. Поэтому повторявшиеся в «Слове» перечисления, как правило, вклю-

чали в себя и не синонимичные, а продиктованные сходством их сюжета элементы. Ср. призывы к восхвалению с цепочками синонимичных или привлеченных по смежности слов «прославить – похвалить – поклониться – подивиться – чтить» и т. п.: «къто не прославить, къто не похвалить, къто не поклониться... и къто не подивиться...» (19); «да хвалимъ его убо и прославляемь... и поклонимся ему» (13); «чтуть и кланяются» (27); «похвалимъ... почюдимся... благодарие въздадимъ» (29); «како славять... како покланяются...» (33); «възрадуися и възвеселися и похвали» (34) и др.

В сходных темах Иларион большей частью повторял, так сказать, ключевые слова, но не обязательно перечисления, и тогда, например, перечислительная форма «познають... и разумеють» (13) в другом месте преобразовывалась в неперечислительную форму «разума еже познати» (24); а, например, перечисление «будущему веку, жизни нетленнеи» (14) сжималось в словосочетания «вечная жизнь» (13, 14), «будущая жизнь» (29); или, может быть, напротив, именно словосочетания превращались у Илариона в перечисления, ср.: «Господь Богъ» – но «Господь нашь и Богъ» (25), «Господи и... Боже» (29) – важно не то, какая форма в какую переходила, а наличие конгломерата определенных слов, фразеологически представлявших повествовательную тему каждый раз, когда данная тема затрагивалась.

От литературной цели Илариона мы можем перейти к его умонастроенности. В склонности Илариона к обозначению повествовательных тем повторяющейся мозаикой слов отразился его интерес к структуре событий и явлений, к разложению их на составляющие и смежные элементы. Следствий этого немало. Поэтому Иларион стремился задавать «структурные» вопросы: «Како верова, како разгореся... како въселися... како възиска... како предася... повеждь намъ... Повеждь... откуду ти припахну... откуду испи... откуду въкуси...» (29) и т. д. Метафоры-символы в «Слове» тоже выразили это стремление к членению: Христос не только «закалаемь бываеть», но и «дробимъ» (24); новое вероучение – это отделение от старой оболочки: «ново учение – новы мехи, новы языкы» (23), «съвлече же ся... и съ ризами ветъхааго человека съложи тленнаа» (27) и т. п. Но особенно аналитичны в «Слове» длинные сопоставления или противопоставле-

ния лиц и событий — последовательно по многим отдельным эпизодам.

Отсюда проясняется особенность мироотношения автора «Слова». По сравнению с привычными для нас описаниями реальности структурные упражнения Илариона имели одно существенное отличие: Иларион структурировал не свои впечатления от событий и явлений непосредственно, а чужие рассказы о них; из книжных понятий и оценок, тасуемых, как ему было надо, составлял он свое повествование, то есть, по его же разъяснениям, оперировал материалом, «преизлиха насыштьшемся сладости книжныа» (14). Это мир книжника.

Сугубая книжность мироотношения Илариона определила и его принцип изложения похвал или порицаний: многократно отражать, варьировать одну и ту же тему и составляющие ее понятийные элементы, принятые в книжности. Поэтому в «Слове» были часты параллелизмы, когда сказанного один раз оказывалось мало и вторая фраза аналитично варьировала основные элементы первой фразы. Например, порицания язычества содержали параллелизмы «идольский — бесовский», «мрак — тьма» и пр.: «*идольскыимъ* мракомъ одержиме быти и *бесовъскыимъ* служениемь гыбнути» (13); «тогда начатъ *мракъ идольскыи* от нас отходити... тогда *тма бесослуганиа* погыбе» (28). Еще присутствовали параллелизмы «слепой — блудящий», «слепой — ослепленный»: «бывшемъ намъ *слепомъ* и истиннааго света *не видящемь*, нъ въ лсти идольстии *блудящемь*» (24); «*слепи* бехомъ от бесовьскыа льсти сердечныими очима, *ослеплени* невидениемь» (34).

Манере многократного дробно-догматического повторения понятийных элементов соответствовали в «Слове» обширные нанизывания цитат и перифразировок на одну тему — это, как написал Иларион, «памагаеть ми словеси» (31). Иларион даже привел пример одной из похвал, которую произносят «вси людие», и она оказалась составленной из демонстративно подчеркнутых повторений и вариаций: «Единъ святъ, единъ Господь... Христос победи, Христос одоле, Христос въцарися, Христос прославися...» (29).

Перечисления в «Слове о Законе и Благодати» обладали еще одной семантической особенностью, тоже непривычной для нас и, вероятно, объяснимой книжным аналитизмом Илариона: член

перечисления, чаще всего последний, нередко логически выделялся или усиливался повтором. Например: «Безвестьная же и *таинаа* премудрости Божии *утаена* бяаху аггелъ и человекъ, не яко неявима, нъ *утаена*» (15) — при перечислении двух эпитетов ударение сделано на втором, и фраза подтверждает это. Или еще: «Пусте бо и *пресъхле* земли нашеи сущи, идольскому зною *исушивъши* ю» (24) — благодаря словесному повтору усиление придано все-таки второму элементу перечисления. Иногда значимость последнего члена перечисления подчеркивалась сравнением: «всю землю обятъ и, *ако вода морьскаа*, покры ю» (18) — «покры» ярче, чем «обятъ», благодаря прибавке сравнения; особенно ясно видно предпочтение последнему элементу в более длинном перечислении: «Ты правдою бе облеченъ, крепостию препоясанъ, истиною обутъ, съмысломъ венчанъ и милостынею, *яко гривною и утварью златою*, красуяся» (34) — заключающая перечень «милостыня» больше всех выделена. Иногда последний элемент, кажется, означал самую сильную степень соответствующего качества: «апостольскаа труба и еуальскыи громъ» (29) — гром громче трубы; «слепыа ихъ просвети, прокаженыа очисти, сълукыа исправи, бесныа исцели, раслабленыа укрепи, мертвыа въскреси» (21) — воскрешение мертвых и есть самое сильное чудо. Гораздо реже усиление ощущалось не у последнего, а у первого элемента, например: «многыа твоа нощныа *милостыня* и дневныа щедроты... къ всемь требующиимъ *милости*» (30) — вроде бы верховенство за первым элементом, за «милостыней», раз дальше следует словесная перекличка с ней; но это скорее случайность; ведь верховенство последнего элемента сразу же восстанавливалось при ближайшем использовании того же перечисления: «твоа бо щедроты и *милостыня*... доброприлюбныа Богомъ *милостыня*... *милостыни* мужу... блажени *милостивии*...» (31).

Некоторая неравноценность членов перечисления объясняется, в первую очередь, неравноценностью мотивов и тем, которых перечисление касалось, то есть опять-таки книжной ориентацией Илариона. Так, например, во фразе «не въ худе бо и *неведоме* земли владычьствоваша, нъ въ Руське, яже *ведома* и слышима есть всеми четырьми концы земли» (27) больше других был выделен эпитет «ведом», вероятно, оттого, что именно книжный мотив «ведания» являлся немаловажным для Илариона и повто-

рялся в «Слове» по отношению к людям («въ инех книгах писано и вами *ведомо*... Ни къ *неведущиимъ* бо пишемь» – 14; «*ведущеи* бо законъ» – 30) и по отношению к Богу («яко *уведять* мя» – 19; «яко же Самъ *весть*» – 20; «яко Богъ *уведеся* и познанъ бысть всеми конци земля» – 21). Примеры можно умножить.

Некоторая усиленность одного из членов перечисления была полезна для четкости похвал, помогая, по словам Илариона, славить «ясно и велегласно» (28), «съ дръзновениемь и несуменно» (29), «яснее и вернее» (31); а преимущественная выделенность именно последнего члена обозначала завершенность перечисления: «учиняюща иже недоконьчаная твоа наконьча» (32). Скрупулезная аналитичность изложения – господствующая черта Илариона, мысли которого вращались в кругу книжности.

Книжный аналитизм, вероятно, был продиктован тогдашними историческими обстоятельствами и соответствовавшей им авторской ролью, избранной Иларионом в его «Слове». Это облик очень скромного книжника: «похвалимъ же и мы по силе нашеи, малыими похвалами» (26) – за подобными словами стояло реальное смирение, а не лишь традиционное самоумаление. Ведь Иларион, по его признанию, не хотел писать «на тъщеславие съкланяяся» и являя пример «славохотию» (14); да и где уж было разглагольствовать, когда только что «бывшемь намъ, яко зверемь и скотомъ, не разумеющемь деснице и шюице» (24). Автор чувствовал себя «въ человецехъ сихъ, новопознавшиихъ Господа» (32), сочинял он для уже появившейся, но еще не искушенной русской книжной элиты и оттого разработал самый простой и доступный способ богословского изложения и книжного чтения – «токмо от благааго съмысла и остроумиа» (30) – структурно-растолковательный способ дробления книжного материала на элементы и мозаичного их повторения. Вклад древнейших русских авторов в литературную архаику еще недооценен, но особых философических богатств он не содержит.

### *«Житие Феодосия Печерского» Нестора*

Нестор писал резко иначе, нежели Иларион (имею в виду его перечисления). «Житие» Феодосия Печерского» содержит много перечислений моральных качеств монахов. У этих перечисле-

ний наблюдаются, по крайней мере, три семантические особенности.

Первая семантическая особенность: Нестор постоянно повторял сочетания названий моральных качеств; например, вместе перечислял смирение и покорение: «видевъ отрока въ такомь *съмерении* и *покорении* суща», «дивити ся *съмерению* его и *покорению*», «зело дивяше ся *съмерению* его и *покорению*», «бе же съмеренъ сердцьмь и покоривъ къ вьсемъ» и т. д.[10] Повторялась у него и пара «смирение и послушание»: «быти вамъ... в *съмерении* сущемъ и въ *послушании*» (129); «съмеренъмъ съмыслъмь и послушаниемъ» (96), «мнози съведетельствують о добремь его *съмерении*... и *послушании*» (102).

Судя по этим и многим другим упоминаниям смирения, Нестор свободно менял сочетания, например, перечислял смирение с кротостью или смирение с «простостью»: «имяше бо *съмерение* и *кротость* велику... таково ти бе того мужа *съмерение* и *простость*» (97).

Однако чаще повторялись сочетания все же определенных качеств — такова особенность (возможно, не главная) повествовательной манеры Нестора, позволяющая затронуть и его идеи. Видимо, Нестор в характеристиках персонажей исходил из представления об устойчивом комплексе главных достоинств монаха: «смирение — покорение — послушание — кротость — простость». Из подобного идеального комплекса Нестор по ходу изложения составлял самые разные пары, в том числе выделял покорение и послушание: «възищемъ Бога... *покорениемь* же и *послушаниемь*» (92); иногда же называл вместе несколько компонентов устойчивого комплекса: «съ всякыимъ *съмерениемь*, бяше бо *кротъкъ* нравом, и тихъ съмыслъмь, и *простъ* умъмь» (86); «съведетельствують о добремь его *съмерении*... и *послушании*, и иже къ вьсемъ *покорение* сътяжа, наипаче... видевъше *кротость* его...» (102).

Комплекс главных качеств монаха не был жестко ограничен Нестором; к устойчивому комплексу присоединялись и некоторые другие, не столь часто повторяемые качества героя, например, «труд»: «отець же нашь Феодосии *съмеренъмь* съмыслъмь и *послушанимь* вься преспеваауше, *трудъмь* и подвизаниемь» (87); «*съмеренъмь* съмыслъмь, и *послушаниемь* и прочиими *труды* подви-

зая ся» (96); «начатъ на *труды* паче подвижьнеи бывати... и делати съ всякыимь *съмерениемь*» (75); еще добавлялись, например, «слезы» и «пощение»: «възищемъ Бога рыданиемь, *слъзами, пощениемь*, и бъдениемь, и *покорениемъ* же и *послушаниемь*» (92); «съ *слъзами* учааше аже... о *пощении...* и о *покорении...*» (127); «увещавааше я съ вьсякыимь *съмерениемь* и съ *слъзами* учаше вься» (108). В общем же, устойчивый комплекс идеальных монашеских качеств в любой момент мог быть дополнен редко повторяемыми или больше не повторяемыми качествами: «дивити ся... *съмерению* его, и *покорению*, и толику его въ уности *благонравьству*, и *укреплению*, и *бъдрости*» (80); «блаженыи же вься си съ радостию приимаше, съ *мълчаниемь* и съ *съмерениемь*» (77) и т. д.

Вторая особенность семантики перечислений и соответственно повествовательной манеры автора: Нестор составлял большинство своих перечислений – устойчивых, полуустойчивых или как бы случайных, – преимущественно подбирая родственные, иногда даже синонимичные категории, примерами чего служат и комплекс «смирение – покорение – послушание – кротость», и единичные перечисления: «търпение и съмерение» (85); «покорение же его и повиновение» (75); «поубожи ся и съмери ся» (77) и др. Среди этих синонимичных сочетаний бывали и заимствованные (вроде цитаты из Евангелия: «кръгъкъ есмь и съмеренъ сьрдцьмь» – 79, 97), однако обычно Нестор сам составлял свои перечисления качеств и их совокупностью, видимо, обозначал некое возвышенное качество, в данном случае – благочестивое душевное состояние главного героя и его учеников, которое он эпизодически называл по-разному – «спасение души», «светьлыя душа», «доброе и чистое житие», «рвение», «доблесть» и пр.

Именно такая возвышенная манера характеристик, помимо характеристик благочестия монахов, распространялась у Нестора и на прочих людей («отъ *ярости* же и *гнева*... имъши и за власы» – 76; «елико *скърби* и *печали* прияша... не мощьно исповедати» – 86; «*ругающе ся* ему, *укаряхут* и́ – 77; «*уча* и *утешая*» – 125; «сицево *бъдение* и *несъпание* по вься нощи» – 118 и пр.), на описания состояния разных объектов («одежда же его бе *худа* и *сплатана*» – 74; «бе бо и телъмь *крепъка* и *сильна*» – 75; «место *скърьбно* суще и *тесно* и еще же и *скудно* при всемь» – 88) и т. д. и т. п. Не

важно, речь шла о хорошем или о плохом — «оно» всегда возвышенно; мир исполнен благородства.

Благородным мироощущением было пронизано все «Житие». Дополнительную возвышенность герою придавали и одиночные эпитеты, потому что в течение изложения они тоже постоянно повторялись, варьировались и чередовались, образуя своего рода сквозное перечисление синонимов и семантически близких слов, эмоционально обозначавших вкупе широкое душевное или духовное состояние того или иного лица. Например, сам Феодосий сначала был определяем только единичными эпитетами — святой, преподобный, богоносный, блаженный, «доблий», божественный, богословесный, Божий, богодохновенный, великий, просвещенный, преславный и пр.; с массой одиночных эпитетов нарастала и экспрессивность повествования о Феодосии; оттого во второй половине «Жития» появились уже парные сочетания эпитетов в приложении к Феодосию — блаженный и преподобный, блаженный и духовный, праведный и преподобный, благой и богоносный, блаженный и великий; а завершилось «Житие» даже тройственным сочетанием эпитетов в адрес «преподобьнаго и богоносьнааго и блаженааго отца нашего Феодосия».

Третья особенность перечислений и повествовательной манеры Нестора в «Житии»: почти все эти прямые или косвенные обозначения качеств-состояний были разнесены по социальным группам персонажей. Некоторые чувства-состояния Нестор отмечал преимущественно только у Феодосия и монахов. Например, почти только Феодосий и монахи испытывали или выражали в «Житии» веселие и радость. Еще, правда, иногда веселились и радовались князья, но исключительно только от общения с Феодосием. Точно так же лишь Феодосий и монахи чувствовали в «Житии» печаль и скорбь, тужили, плакали, рыдали, лили слезы и точно так же редкие печаль и слезы некоторых других лиц — князя, боярина, вдовы и др. — обязательно были связаны с присутствием Феодосия же. Однако автор «Жития» уделял внимание и иным лицам, кроме Феодосия и монахов, и, например, гнев и ярость были свойственны в «Житии» явно только персонажам светским — князьям, родителям будущих монахов и др.; о Феодосии же, напротив, было заявлено, что тот «николи же бе напраснъ, ни гневьливъ, ни яръ очима» (108). Наконец, некоторым

чувствам в «Житии» были подвержены буквально все — от Феодосия до разбойников; например, все персонажи боялись, переживали страх, трепет, ужас; все персонажи чувствовали любовь, жалость, умиление.

Нестор, по-видимому, действительно, делил персонажей по социальным типам и оттого сопровождал свое повествование многочисленными замечаниями о том, кому что приличествует: «е лепо боляромъ» (84); «лепо бо намъ есть нарекъшемъ ся черньцемъ» (92); «яко же е лепо кънязю» (123); «яко же обычаи есть унымъ» (74) или же что всем «подобаеть намъ» (122), «яко ж обычаи есть крьстияномъ» (73) и т. д. Мир благороден и социально строен у Нестора. Правда, Несторово мироощущение нуждается в дальнейшем изучении.

Удивляет, какое неисчерпаемое и все растущее разнообразие оригинальных манер изложения существовало уже в самый древнейший период истории литературы Руси[11].

## 2. Об «архаизирующем» повествовании в «Слове о полку Игореве»

Автор «Слова о полку Игореве» в первой же фразе своего произведения предупредил, что будет повествовать именно «старыми словесы», и это обещание сдержал («не лепо ли... начяти старыми словесы»[12] означало не вопрос, а утверждение: именно «лепо» начать старыми словесами эту повесть). В приверженности автора «старым словесам» можно убедиться на примере фразеологических параллелей к «Слову» из других памятников. В данной работе ограничимся только тремя параллелями, из которых литературная ориентация автора «Слова» определяется достаточно явственно.

### *«Железныи папорзи»*

На предположение об «архаизирующей» ориентации «Слова» наводит темное место в обращении к князьям: «А ты, буи Романе и Мстиславле!.. Суть бо у ваю железныи папорзи подъ шеломы латинскими. Теми тресну земля» (52). К непонятному слову «папорзи» в качестве пояснения подыскиваются две основные па-

раллели — слова «поворозa» и «паперси»[13]. Первой рассмотрим параллель «поворозa» — из летописной повести под 1216 г. о битве новгородцев с суздальцами на реке Липице; в тексте поздней версии повести по «Новгородской Карамзинской летописи» сообщается о князе Мстиславе Удалом: «бе бо у него топоръ с *поворозою* на руце, и сечаше темь»[14]. Слова «папорзи» и «поворозa» кажутся близкими по созвучию, тем более что в «Московско-Академической летописи», содержащей тот же поздний текст о Липицкой битве, слово «поворозa» написано еще ближе орфографически к слову «папорзи»: «бе бо у него топоръ с *паворозою* на руце»[15].

О связи слова «поворозы» с «папорзи» свидетельствуют также неоднократные, но до сих пор не отмеченные случаи фразеологического сходства поздней версии повести о Липицкой битве со «Словом о полку Игореве», причем большинство параллелей встречается в том самом отрывке повести, где упомянуты «поворозы». Перечислим их по ходу летописного изложения.

1) Повесть: «А *забудем, братье,* домы, жены и дети» (122); «Слово»: «дорога, *братие, забыв* чти, и живота... и отня злата стола, и своя милыя хоти...» (48) — совпадают слова «забыти» и «братие», перекликаются синонимичные слова «домы» и «живот», «жены» и «хоть», а, возможно, также «честь» и «отний стол».

2) Повесть: «А коли любо умирати»; «Слово»: «хощю главу свою приложити» (44) — тут, правда, лишь смысловое сходство выражений «любо умирати» и «хощю главу приложити».

3) Повесть: «ссед с *коней... боси поскочиша,* полезше же с *конь,* тако же поидоша *боси,* завиваючи ноги»; «Слово»: «*поскочи* горнастаемъ... въвръжеся на бръзъ комонь и *скочи* с него *босымъ* влъкомъ... избивая гуси и лебеди» (55) — совпадают слова «поскочити» и «босый» (а «босость» — очень редкий мотив); перекликаются по смыслу «ссести с коней» и «скочити с коня»; наконец, созвучны слова «завивати» и «избивати» (в повести первоначально, вероятно, было более разумное: «боси забиваючи ноги», а не искаженное «завиваючи»).

4) Повесть: «побежени же бывше *полкы силнии*»; «Слово»: «бяшеть притрепалъ своими *сильными плъкы*» (50) — совпадает словосочетание «сильные полки», синонимичны слова «победити» и «притрепати».

5) Повесть: «се бо слава ею и хвала *погыбе*»; «Слово»: «усобица княземъ на поганыя *погыбе*» (49) – совпадает слово «погыбе» в приложении к абстрактным понятиям.

Возможные переклички со «Словом» встречаются и перед рассматриваемым отрывком из летописной повести.

1) Повесть: «*Одинъ* есмы *брат* съ Ярославом» (116); «Слово»: «*одинъ братъ,* одинъ светъ светлыи – ты, Игорю» (46).

2) Повесть: «стояша за *щиты* всю нощь, *кликоша* бо въ всех полцех» (120); «Слово»: «дети бесови *кликомъ* поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными *щиты*» (47).

3) «Повесть: «*и бишясъ* ти *день* и до вечера» (120); «Слово»: «*бишася день,* бишася другыи, третьяго дни къ полуднию...» (49).

Какой же конкретно была связь летописной повести со «Словом о полку Игореве» и соответственно слов «поворозa» и «папорзи»? Фразеологическое сходство со «Словом» отсутствовало в самой ранней версии повести, находящейся в «Новгородской первой летописи» обоих изводов, а появилось оно только в более поздней версии летописной повести, восходящей к летописному своду начала или середины XV в. и дошедшей в нескольких летописях XV в.[16], среди которых, кстати говоря, текст поздней версии повести в «Новгородской Хронографической летописи» конца XV в. в результате симптоматичной описки, навеянной «Словом о полку Игореве», вдруг ни к селу ни к городу упоминает даже половцев[17]. Таким образом, по крайней мере, не позднее начала или середины XV в. на летописную повесть о Липицкой битве как-то повлияло «Слово»; но, добавим, не обязательно само «Слово», а, возможно, исчезнувшая его переработка, предшествовавшая «Задонщине». Однако так или иначе, но вывод о параллели «папорзи – поворозa» ясен: слово «поворозa» в поздней версии летописной повести действительно коррелирует со словом «папорзи» в «Слове о полку Игореве» и оправдывает исправление в тексте «Слова» искаженного написания «папорзи» на правильное «паворзи» или «паворози», что было предложено еще Д. Дубенским, а затем Ю. М. Лотманом, правда, на основании палеографических соображений[18].

Итак, уже можно попытаться осмыслить, что такое «папорзи – паворзи». Судя по параллели из летописной повести о Липицкой битве, «папорза», вероятнее всего, означала нечто вро-

де петли из ленты или ремня: с ремнем – поворозою на руке был топор у князя во время сечи[19]. Значит, некие ремни или полосы означали «папорзи – паворзи» и в «Слове о полку Игореве». Однако смысл словосочетания «железныи папорзи» в «Слове» был уже переносный – имелись в виду ремни особого рода или даже вовсе не ремни, а железные полоски или ободки, либо ряды железных нагрудников у воинов, когда цельной кирасы еще не изготовляли. Раз «папорзями» обозначается совсем другой предмет – нагрудники, то, следовательно, перед нами не изобразительная метафора, а иносказание, обозначение одного предмета через другой предмет, то есть метонимия.

Такое толкование данного словосочетания наводит на предположение об одной из семантических особенностей «Слова», в котором сочетание необычного эпитета с существительным нередко являлось иносказанием: «опуташа въ путины железны» (50), – железные путины – это не обычные путы, которыми опутывают, а что-то, напоминающее цепи или гибкую проволоку[20]; «на Немизе... молотятъ чепи харалужными» (54) – ясно, что харалужные цепи – это в данном случае не цепи, а мечи, которыми «веютъ душу отъ тела»; «зелену паполому постла» (48) – имеется в виду не только зеленая паполома – покрывало, а трава в роли савана и т. д. – можно умножить примеры предметных иносказаний в «Слове».

После первой параллели «папорзи – паворзи» перейдем к рассмотрению второй параллели к «папорзям», которая обнаружена В. Н. Перетцом в «Хронике» Георгия Амартола, где в одном из рассказов говорится, как византийский цесарь заботился о сохранности «предивнаго и единокаменьнаго столпа... на красоту же ему и на лепоту медяны обручи прекова и мнози поперсьци»[21]. Параллель здесь та, что «папорзи» и «поперсьци» являются словами хотя и разными, но созвучными и одновременно сходными по смыслу, ведь «папорзи», «паворзи» и «поперсьци» означали примерно одно и то же: ремни или пояса, очевидно, нагрудные металлические[22]. Недаром вслед за Ф. И. Буслаевым В. Н. Перетц склонялся именно к поправке «паперси» вместо испорченного «папорзи» в тексте «Слова», правда, предложил «паперси» со значением «латы»[23].

Вторая параллель позволяет высказать еще одно, второе предположение о семантике авторских высказываний в «Слове о полку Игореве». Кажется, не так уж и важно, какие именно из созвучных слов первоначально стояли в тексте памятника, потому что не терминологическое, а переносное значение всей фразы было здесь самым главным: «Суть бо у ваю железныи папорзи (паворзи, паперси) подъ шеломы латинскими» иносказательно означало сплошную закованность головы и тела воинов (а возможно, и коней) в железо. Этот-то мотив скованности воинов металлом и повторялся в данном месте «Слова» как несомненно важный: тут же упоминаются Ярослав Осмомысл на «*златокованнемъ*» престоле со «своими *железными* плъки» (52); у других князей «храбрая сердца в жестоцемъ *харалузе скована*» (51); иных — «опуташа въ путины *железны*» (50); половцы тоже предстают в виде «*железныхъ* великихъ плъковъ» (50).

Семантическая особенность «Слова о полку Игореве», наблюдаемая в данном случае, по-видимому, была вот какой: во фразы и выражения автор регулярно вкладывал настолько расширительный, переносный, иносказательный смысл, что в пределах такого смысла становилось возможным менять конкретные слова внутри фразы по созвучию, по родственности значений или как-либо еще, чем и занимались позднейшие переписчики, а затем и исследователи «Слова», а общий смысл фразы не менялся.

Приведем еще примеры словесной толерантности «Слова о полку Игореве». Так, двояко звучит, например, фраза: то ли «что ми шумить, что ми звенить давечя», то ли «что ми шумить, что ми звенить далече» (48) — все равно выражается ощущение отдаленности автора от описываемых событий. Так же двояко может звучать, например, обращение к ветру: то ли «бяшетъ *горъ* подъ облакы веяти», то ли «бяшетъ *горѣ* подъ облакы веяти» (54) — все равно где-то далеко вверху. Еще пример двоякости звучания: то ли «меча *времены* чрезъ облаки», то ли «меча *бремены* чрезъ облаки» (52) — и в том и в другом случае передается представление о чем-то затруднительном для метания, но с силой метаемом[24]. Таково семантическое коварство «Слова» — плата за широкую иносказательность.

Отсюда делаем еще один, третий, предположительный вывод — уже о повествовательном своеобразии «Слова о полку

Игореве»: связь иносказаний, трудно уловимых ныне переосмыслений была ведущей в ходе повествования этого памятника. И действительно, перейдем к контексту фразы с «папорзями». Железные «папорзи — паворзи — паперси» вместе с латинскими шеломами обозначали закованность в металл и, следовательно, тяжкую железную амуницию воинов[25] и поэтому естественно связывались с, казалось бы, непонятным непосредственным продолжением повествования в этом месте «Слова»: «теми тресну земля» (52), то есть от тяжелого вооружения треск и гром шел по всей земле[26]. Подобные прямо и косвенно выраженные земельно-звуковые мотивы (неприятные звуки над землей или от земли) типичны для «Слова»: «*гримлютъ* сабли... *трещатъ* копиа харалужныя... среди *земли* Половецкыи» (48); «быти *грому* великому... *земля тутнетъ*... половци идутъ» (47); «половци неготовами *дорогами* побегоша... *крычатъ* телегы» (46); «*кликну, стукну земля*... вежи ся половецкии подвизашася» (55).

Но можно сделать еще четвертый, более широкий и, кажется, неожиданный вывод об истоках повествовательной манеры автора «Слова», а именно — об ориентации автора «Слова» на прошлое повествование XI в., но не на современное ему повествование XII в. Ведь странно, что нет аналогий светскому иносказательному изложению, характерному для «Слова», среди произведений XII в., а вот в XI в., по крайней мере, одна аналогия есть, и какая — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, переведенная с греческого на Руси в середине XI в.[27] Именно в «Истории» Флавия и именно в речах героев, сконструированных древнерусским переводчиком сочинения, встречается экспрессивная метонимия, причем наиболее часто в первых трех книгах «Истории», насыщенных фольклорно-легендарным материалом в отличие от последующих книг, составленных очевидцем событий[28].

Ограничимся примерами, структурно близкими к «железным папорзям» «Слова о полку Игореве» — метонимическими сочетаниями существительных с прилагательными в «Истории» Иосифа Флавия: «въ единъ путь смьртныи ведошася» (путь смертный — казнь); «повемь язычьскую злобу» (языческая злоба — заговор с целью убийства); «душа наша темну храмину оставивши» (темна храмина — тело); «потят будеши серпом небесным» (серп небесный — смерть); «отъятися от римских рук» (римские руки — власть

Рима); «иссухають сълньцемъ жатвеным» (солнце жатвенное — зной); «укрепи мышци июдеискы» (мышцы иудейские — войска Иудеи); «не терпящи буря конное» (буря конная — натиск конницы) и пр.[29]

Подобную иносказательную манеру старых экспрессивных речей, по-видимому, взял за образец автор «Слова о полку Игореве», но пользовался «старыми словесы» гораздо гуще и старательнее своих предшественников: «старые словесы» были для него «старшими словесами», но не устаревшими.

Повествовательная ориентация автора «Слова» на «старые — старшие словесы» подтверждается и другими схождениями с «Историей» Иосифа Флавия. Так, именно в сочинении Флавия присутствовали древние мотивы окованности войска металлом («окованы быша железомь»[30]) и громыхающего треска оземь от тяжести вооружения («падеся ниць с великым громом, запен си о камень с тяжкымъ оружиемь»[31]). Иносказания в «Истории» Флавия также допускали замену конкретных слов без ущерба для общего смысла метонимии (ср.: «потят будеши серпом небесным»; а в другом списке: «пожат будеши серпом небесным»[32]). Наконец, немало фразеологизмов «Истории Иудейской войны» было использовано в «Слове о полку Игореве»[33].

Ориентацию автора «Слова» на «старые—старшие словесы» можно условно назвать «архаизирующей», имея в виду само явление настойчивой обращенности к XI в. у автора конца XII в., но не подразумевая при этом, будто автор «Слова» исходил из теоретического деления сочинителей на архаистов и новаторов. Причины «архаизирующего» повествования в «Слове» еще не ясны, требуются обширные исследования, в частности, продолжение наблюдений над различными параллелями к «Слову», что мы и делаем далее.

### *«Что ми звенитъ... рано предъ зорями»*

Иногда в одной только фразе обнаруживается несколько «архаизирующих» явлений благодаря параллелям к «Слову». Так, не замеченную исследователями параллель к фразе из «Слова о полку Игореве» «что ми шумить, *что ми звенить* давечя рано предъ зорями?» находим в «Хронике» Георгия Амартола: «Где ми суть

глаголи твоихъ трудъ? *Звьнять*» (151) — тоже вопрос и тоже непривычная для нашей современной фразеологии форма «звьнять ми», где глагол «звенети» сочетается с местоимением в дательном падеже, то есть предполагается, что звон адресуется определенному лицу, а не просто распространяется в пространстве[34].

Подобная параллель заставляет увидеть, что адресность звука была нередкой в «Слове о полку Игореве». Ср. далее о князе Всеславе: «*Тому* въ Полотске *позвониша* заутренюю рано святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Киеве звонъ слыша» (54) — звон был направлен и дошел до адресата. Пение в «Слове» также было направлено на персонажа, а не только посвящено ему: «*кому* хотяше песнь творити» (43); «песнь пояше старому *Ярославу*» (44); «пети было песнь *Игореви*» (44); «*тому* — припевку... рече» (54); «певше песнь *старымъ княземъ*, а потомъ — *молодымъ* пети» (56); отсюда и гусли направленно «*княземь* славу рокотаху» (44). Клич в «Слове» временами также оказывался адресным: «Дивъ кличетъ... велитъ послушати земли незнаеме» (46) — то есть «кличеть... *земли незнаеме*»; «Донъ *ти*, княже, кличетъ» (52). Свист тоже адресно направлен: «Овлуръ свисну... велить *князю* разумети» (55) — «свисну... *князю*». Даже, кажется, и стон направлен: «нощь стонущи *ему*» (46).

Также и не подразумевавшие издавания звука самые различные глаголы в «Слове» сочетались с беспредложными существительными в дательном падеже, обозначающими именно направленность на адресата действия: «чръпахуть *ми* синее вино» (50; в переводе сейчас больше выделяется причинно-целевой смысл: «черпали для меня синее вино»); «Двина течетъ *онымъ грозным̀ъ полочаномъ*» (53; в переводе сейчас преобладает целевой смысл: «течет для тех грозных полочан»); «*обиде* порождено» (47; сейчас более опосредованно: «порождено на обиду, в обиду, для обиды, к обиде»); «утру князю кровавыя его раны» (54; в переводе менее непосредственно, не так в упор: «утру у князя, на князе»). И это далеко не все примеры «дательного направленности» (а не дательного принадлежности) в «Слове»[35].

Создается странное впечатление о крайней, может быть, даже нарочитой в «Слове» архаичности выражений типа «что ми шумить, что ми звенить» и т. п. Ведь аналогии встречаем в XI в., но не XII в. Например, в «Слове о Законе и Благодати» митрополи-

та Илариона середины XI в. находим такое же обилие непривычных для нас словосочетаний глаголов с беспредложными существительными в «дательном направленности». Так, глаголы, подразумевающие звук, как правило, сочетаются у Илариона с указанием адресата этого звука: «воскликнете *Богу*... вся земля да... поеть *тобе*, да поеть же *имени* твоему... услыши ны, Боже»[36]; «что *ти* приречемь, христолюбче... зовемь *ти*, *о* блажениче» (29—30). И глаголы, не связанные с издаванием звука, тоже направляли действие к адресату в «Слове» Илариона: «закалаемь *бесомъ* друг друга» (24; сейчас сказали бы: «закалываем для бесов, в честь бесов»); «*тому* поработають» (25; сейчас переводится: «поработают для него, во имя его»); «*ти* припахну воня» (29); «дивна и славна *всемъ округъниимъ странамъ*» (33); «*еи* же и церковь... създа» (33) и т. д. В «Молитве» Илариона, присоединенной к его «Слову», также постоянны аналогичные обороты с беспредложными существительными в «дательном направленности»: «съгрешаемь *ти*» (35), «огрози *странамъ*» (38); «Троицу... царьствующу... *аггеломъ и человекомъ*» (39) и пр.[37]

Сугубо предварительное и, возможно, сомнительное предположение о нарочитой ориентации «Слова о полку Игореве» на редкостную фразеологию XI в. нуждается в серьезном обосновании соответствующими аналогиями, которые пока являются единичными и отыскиваются с трудом. Тем не менее в рассматриваемой фразе «что ми звенить...» обнаруживается еще один архаический для конца XII в. мотив: «рано предъ зорями». Почему надо было указать, что действие происходит именно рано утром? Только ли потому, что в действительности так оно и было?[38] В «Слове о полку Игореве» упоминаются и полдень, и вечер, и ночь, и полночь, но считанные разы, а вот раннее утро упоминается очень часто по разным поводам и семантически в основном для того, чтобы показать томительную длительность события, начавшегося или продолжающегося с утра. И в самом деле, в эпизоде «что ми звенить» несчастье разразилось не сразу, а назревало с утра первого дня до полудня третьего дня: «Что ми шумить, что ми звенить давечя *рано предъ зорями?* Игорь плъкы заворочаетъ... Бишася *день*, бишася *другыи*, *третяго дни къ полудню* падоша стязи Игоревы» (48—49). Точно так же события, предшествующие поражению Игоря, начались рано и длились долго: «*Съ зарания* въ

пятокъ потопташа поганыя плъкы половецкыя... Другаго дни *велми рано* кровавыя зори светъ поведаютъ... Съ зарания до вечера, съ вечера *до света* летятъ стрелы каленыя» (46—48). Ярославна с раннего утра и, по-видимому, тоже долго плачет об Игоре: «*рано* кычеть... *рано* плачеть», да и сама об этом говорит: «слала къ нему слезъ... *рано*» (54—55) — и вот только к «полунощи» Игорь совершает побег. Сам побег Игоря тоже длится долго, ведь он бежит, избивая гусей и лебедей с утра до вечера: к «*завтроку*, и обеду, и ужине» (55); потом снова упомянуто раннее время — на рассвете соловьи песнями «*светъ* поведаютъ»; но только днем, когда «солнце светится на небесе, — Игорь-князь въ Рускои земли» и появляется (56). Нужно отметить, что упоминания другого времени суток, например ночи, тоже служат изображению тревожной длительности явлений в «Слове»: «Длъго *ночь* мрькнетъ» (46); Всеслав «*въ ночь* влъкомъ рыскаше», пока ему не «позвониша заутреннюю рано» (54); Святослав во сне видит долгие картины: «Си ночь съ вечера одевахуть мя... Всю *нощь* съ вечера босуви врани възграяху...» (50).

Единичная аналогия обозначению длительности события через упоминание утра в «Слове» извлекается опять-таки из «Хроники» Георгия Амартола. Например, поход Давида начался с утра и долго длился: «*Утрьни* Давыдъ иде *заутра* стречи землю иноплеменьникъ... и пришедшю Давыду въ землю ону в 3 день... и с победою возвратившюся въ 4 день» (128). Значит, снова можно вернуться к предположению о том, что автор «Слова о полку Игореве» брал редкие формы повествования, редкие даже в XI в., и применял их в своем произведении. Но дополнительные аналогии надо еще найти.

Об «архаизирующей» повествовательной ориентации «Слова о полку Игореве», конечно, можно спорить. Однако поддержку такому предположению находим в осторожных, но регулярно повторяемых выводах А. Н. Робинсона об идейно-политической архаичности «Слова», в котором, по словам исследователя, преобладает «идеология, направленная к возрождению архаических традиций “Русской земли”, утверждение идеалов, восходящих к устаревшим (в эпоху феодальной раздробленности) традициям Киевской Руси»; и еще: «необычная для памятников русской литературы насыщенность “Слова” редкими или един-

ственными в своем роде трудными для понимания символами... является одним из свидетельств архаичности памятника уже для своего времени (XII в.)»; «“Слово о полку Игореве” по своему содержанию и форме было архаичным феноменом второй половины 80-х годов XII в.»; «высокие идеи “Слова”, как и его прекрасная поэтика, не отвечали реальным политическим требованиям и эстетическим нормам эпохи феодальной раздробленности... они становились безнадежно архаичными»[39]. Показательно, что даже Д. С. Лихачев выдвинул предположение о том, что «Слово» «исполняется как бы двумя певцами», первый из которых — «певец-архаист», он «предлагает исполнять песнь “старыми словесы”... в манере Бояна», а второй — «певец-рассказчик», «он предлагает петь по “былинам сего времени”»; правда, отделить «старые словеса» от «былин сего времени» в тексте «Слова о полку Игореве» удается все-таки с трудом: «тема Бояна оказывается в известной мере более естественной и органичной для “Слова”»[40].

### *«Подъ облакы»*

По поводу «архаизации» в «Слове» добавим три наблюдения уже не над его выражениями, а над рядом его пространственных мотивов.

Наблюдение первое. У героев и символических персонажей «Слова», как и во всяком произведении, конечно, есть верхний пространственный уровень, в пределах которого они действуют, но уровень несколько неожиданный. Это не небо, как обычно бывает в памятниках. Небо вообще лишь один раз упоминается в «Слове», да и то в концовке, возможно, добавленной в первоначальный текст позже; притом небо здесь служит только фоном для солнца: «Солнце светится на небесе — Игорь-князь в Рускои земли» (56). Солнце же как самостоятельное обозначение верхней границы действий персонажей наиболее часто упоминается в «Слове», и особенно деяния Игоря развертываются под солнцем: «Тогда Игорь възре на светлое солнце» (44); «Игорь-князь... поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше» (46); «Игорю утръпе солнцю светъ» (52). Воины Игоря тоже пребывают под солнцем: «Светлое и тресветлое слънце... простре горячюю свою лучю на... вои» (55).

Сопровождение героев в походе реальным солнцем — это уникальная повествовательная черта «Слова о полку Игореве», пожалуй, больше не находимая ни в памятниках XII в., ни в памятниках XI в., в которых солнце упоминается лишь в связи с космологическими и фенологическими темами или при статичных описаниях строений и вооружений, блистающих под солнцем. Удается найти еще только один эпизод с солнцем, сопровождающим персонажей, — в «Поучении» Владимира Мономаха самого конца XI в.: «да не застанеть вас солнце на постели. Тако бо отець мои деяшет блаженыи и вси добрии мужи свершении... солнцю въсходящю, и узревше солнце...»[41] Сходство «Слова» опять с древностью...

Наблюдение второе. Как известно, внимание автора «Слова» к солнцу, вероятно, было связано с реальным обстоятельством похода Игоря — с солнечным затмением. Но и другие повторяющиеся мотивы «Слова», реальные и символические, тоже были связаны с различными внешними обстоятельствами того похода по степи: обильные птичьи мотивы, особенно соколиные, соловьиные, галочьи и пр.; мотив бегущего волка; мотивы травы и единичного древа в степи; мотивы поля, холма и неведомости пути и т. д.

Если верна догадка о появлении стойких литературных мотивов в «Слове» в зависимости от специфических реалий действительности, то мы, может быть, опять встречаемся с «архаизирующим» повествованием в «Слове», потому что в произведениях XII в., кажется, не обнаруживается случаев стихийного возникновения художественных мотивов под влиянием предметных особенностей реальной ситуации, затрагиваемой или подразумеваемой произведением, а вот ранее хотя бы единичный случай указать можно. В «Сказании о Борисе и Глебе» конца XI — начала XII в. в сцене нападения убийц на Глеба упомянута известная своей необычайной яркостью деталь, отсутствующая в других произведениях о Борисе и Глебе: убийцы Глеба «обнажены меча имуще въ рукахъ своихъ, бльщаща ся, акы вода»[42]. Сверкание оружия нередко описывается в памятниках, но необычное сравнение блеска мечей — «акы вода» — появилось, по-видимому, оттого, что мечи были обнажены над водой, на реке, когда Глеб плыл «въ кораблици», и убийцы «гребяаху ся къ нему» и, нагнав, «начаша

скакать... въ лодью его». Само по себе сравнение «акы вода» (особенно в связи с кровопролитием) — книжного происхождения[43], но оно было напомнено автору окружающей обстановкой тех событий. (Правда, водянистый блеск мечей мог символизировать бесчестность этого оружия у злодеев.)

Догадка об «архаичности» отдельных литературных мотивов в «Слове» подкрепляется третьим наблюдением над верхним уровнем действий различных персонажей — под облаками. Наиболее ясно этот верхний облачный уровень обозначен в самом начале «Слова»: «Боянъ бо вещии... растекашется... серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы» (43) — земля предстает как низший уровень деятельности Бояна, а облака — как высший. В последующем тексте уровни тоже противопоставлены, хотя и не так отчетливо, друг другу: «О, Бояне... летая умомъ подъ облакы... рища... чресъ поля...» (44) — вверху облака, а внизу поля; «о, ветре... мало ли ти бяшетъ горе подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море» (54) — вверху облака, а внизу море; «Игорь... потече къ лугу Донца и полете соколомъ подъ мьглами» (55) — внизу луг, а вверху «мглы», то есть облака. Такое же противопоставление содержит фраза со следующим упоминанием облаков: Ярослав Осмомысл «затворивъ Дунаю ворота, меча бремены чрезъ облаки» (52). Выражение «чрезъ облаки» означало область не столько выше облаков, над облаками, сколько вдоль них, а потом за ними на том же уровне; ср. аналогии: «рища... чресъ поля на горы» (44) — вдоль и за пределы полей; «занесе чресъ поля широкая» (44) — вдоль за широкие поля; «вьются голоси чрезъ море до Киева» (56) — вдоль за море. Так что во фразе о Ярославе Осмомысле тоже присутствуют два уровня действий: низший — Дунай, а высший — облака; и, значит, облака в «Слове» постоянно составляют для персонажей верхний уровень развития событий, не связанный ни с небесами, ни с солнцем (кроме одного кажущегося исключения: «чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца» — 47; однако тут тучи — субъект действия, идут, куда хотят, и не являются объектом деятельности земных героев).

Аналогии «Слову», его облакам в роли самостоятельного (без неба и солнца) верхнего предела действий персонажей встречаются опять именно в очень ранних переводных произведениях —

в «Александрии» («великъ орелъ... възлете на облакы», в другом списке — «под облакы»[44]); в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия (римляне «акы под облаком пришедше», в другом списке — «по облаком»[45]); в «Шестодневе» Иоанна Экзарха («брези... акы до облакъ възведени беаху... до облакъ суще зрещиимъ», «пенещи се море и въсходещее до облакъ»[46]); в «Хронике» Георгия Амартола («видевь некоего высока... стояща, прикасающаяся до облака»[47]); а также в оригинальном древнерусском произведении XI в. — в «Житии Феодосия Печерского» Нестора («въ нощи на поли... виде церковь у облака сущу»[48]).

Позднее с мотивом облаков как мерой высоты произошли заметные перемены, не свойственные «Слову о полку Игореве». Облака стали упоминаться в саркастическом контексте, например, во «Владимиро-Суздальской летописи» под 1169 г. и в «Киевской летописи» под 1172 г. («сего доведоша беси, вознесше мысль его до облакъ»[49]); а в положительном контексте — вперемешку с небесами, что видно даже в «Задонщине» (жаворонок и иные птицы то летят «под синие облакы», а то и чаще — «под синие небеса»)[50]. Значит, кажется, есть основания вернуться к предположению об «архаизирующей» ориентации «Слова о полку Игореве» и в этом литературном мотиве.

Все сказанное выше побуждает к дальнейшим исследованиям. Надо проверить масштабы «архаизирующей» ориентации «Слова о полку Игореве» на гораздо большем количестве аналогий к нему из других памятников. Необходимо объяснить «архаизирующую» манеру автора, который, возможно, попытался перейти от «трудныхъ повестии» к возвеличивающей «песни по былинамъ сего времени». Если явление «архаизации» подтвердится, можно поставить вопрос о постоянстве «архаизирующих» «оглядываний назад» в древнерусской литературе на протяжении с XII по XVII в., а не только во второй половине XIV — начале XV в., в период так называемого Предвозрождения. В общем, история древнерусского повествовательного искусства содержит немало неожиданностей.

### 3. Гипотеза о первоначальном виде «Слова о погибели Русской земли»

К еще более загадочным и даже головоломным произведениям, чем «Слово о полку Игореве», принадлежит «Слово о погибели Русской земли», кажущееся сейчас монолитным отрывком не дошедшего до нас произведения. Сейчас известны два почти идентичных списка одного и того же отрывка из недошедшего памятника: первый, более ранний, – XV в., и второй, более поздний, – XVI в.; оба списка одинаково дефектны и восходят к общему протографу, но список XV в. сохранил более древние черты[51]. По не очень ясным упоминаниям князей в дефектном тексте «Слово» датируется XIII в. – то ли 1238 г., то ли временем до 1246 г., то ли и более поздними годами[52].

Смысл «Слова о погибели Русской земли» в дошедшем отрывке также не ясен. Недоумения начинаются уже с заголовка памятника. В раннем списке XV в. заголовок написан с буквенными исправлениями и явными искажениями и поэтому может быть прочтен по-разному: «Слово о погибели Рускыя земни и о смерти великого князя Ярослава» или же: «Слово о погибели Рускыя земны по смерти великого князя Ярослава»[53]. В списке XVI в. такого заголовка нет вообще. О какой «погибели Русской земли» идет речь – не ясно, потому что в обоих списках сохранилось только самое начало произведения, всего 2 странички. Причем переписаны они без понимания и внимания; текст настолько испорчен, что, например, в списке XV в. на все 45 строк отрывка из памятника приходится более 20 ошибочных или переправленных написаний слов, искажений фраз и словесных пропусков; даже имя Владимира Мóномаха написано неверно: «Володимеру Иманаху». Естественно, что столь небольшой и искаженный текст с трудом поддается истолкованию и допускает различные догадки о его смысле. В какой-то степени прояснить смысл «Слова» помогают аналогии его темам и мотивам из других древнерусских памятников, чем и занимаются исследователи этого красивого, но маловразумительного произведения.

Понятие «погибели» в «Слове о погибели Русской земли» вызвало особенно много истолкований[54]. В дошедшем отрывке па-

мятника это слово употреблено только один раз — в заголовке, где «погибель Русской земли» («о погибели... по смерти»), как можно понять, связана со временем после смерти великого князя киевского Ярослава Владимировича Мудрого в 1054 г. Аналогичные мотивы из других памятников подтверждают связь «погибели Русской земли» с определенным историческим временем второй половины XI в. Например, в «Повести временных лет» слова «погубити», «губити», «погибать» по отношению к Русской земле постоянно употреблялись в летописных статьях с 1054 по 1097 г. («погубить землю отець своихъ и дедъ своихъ», «губять землю Русьскую», «погубили суть землю Русьскую», «погыбнеть земля Руская», «губимъ Русьскую землю» и т. д.[55]). А затем, в XII—XIII вв., эти выражения использовались в летописях лишь в редчайших случаях. Так, в «Лаврентьевской летописи» под 1147 г. сказано: «Земля наша погыбаеть» (299), но речь уже идет о Черниговской земле, а не о всей Русской земле.

В «Слове о полку Игореве» мотив «погибели» тоже был связан со временем после смерти Ярослава Мудрого: «...минула лета Ярославля, были плъци Олговы, Ольга Святьславличя... Тогда при Олзе Гориславличи... *погибашеть* жизнь Даждь-Божа внука... Тогда *по Рускои земли* ретко ратаеве кикахуть»[56] — тут затронута та же тема о погибании и Русской земле во второй половине XI — начале XII в. при князе Олеге Святославовиче (умер в 1115 г.).

Если в заголовке «Слова о погибели Русской земли» мотив «погибели земли» подразумевал время второй половины XI в., то в это время «погибель» никак не могла обозначать состоявшееся или ожидаемое уничтожение либо исчезновение Русской земли.

В контексте «Слова» и других памятников выражение «погибель земли» имело, скорее всего, переносное значение «разорение, опустошение». Недаром «Слово» сразу после заголовка приступило хотя и к противоположной теме, но как раз того же хозяйственного рода, — об отсутствии разорения, об украшенности и наполненности Русской земли благами.

Аналогичные выражения о погибели или погублении Русской земли в других ранних памятниках отчетливей, чем в «Слове о погибели», обозначали «погибель земли» как ее разорение, прежде всего хозяйственное. Например, «Повесть временных лет»

довольно ясно разделила компоненты погибели на ее причину, затем на собственно погибель и на следствие погибели. Так, под 1097 г. было определено: «начнеть братъ брата закалати, и *погыбнетъ* земля Руская, и врази наши половци, пришедше, возмуть землью Русьскую» (253) — причиной погибели земли являются междоусобия князей, а следствием погибели станет пленение, захват земли врагом. Но в чем выражается сама погибель или погубление земли? На этот вопрос тоже ответила «Повесть временных лет». Под 1093 г. сообщалось: «погании *губять* землю Русьскую; ...половци... пустишася по земли, воююче... опустеша села наша и городи наши... земля мучена бысть... все тоще ныне видимъ» (212—216) — то есть погубление земли состоит в ее разорении, опустошении, мучении.

В «Слове о полку Игореве» выражение «погибашеть жизнь Даждь-Божа внука» тоже означало разорение имущества русских жителей[57].

«Хроника» Георгия Амартола, переведенная на Руси в XI в., также подтверждает, что под «погибелью» какой-либо области или города, например Иерусалима, понималось прежде всего его хозяйственное запустение, разорение, разрушение, включая, конечно, и убийства. Как его «первое же по времени *погыбелье* же и запустениемь... градъ бошью (полностью) пустъ створивъ», так и «2-е *погыбелье* Иерусалиму» толковалось как «мерзость запустению»: губитель Иерусалима, «разоривъ стены градныя, весь градъ пожьже и испроверже» и т. п.[58] Точно так же толковалось «3-ее бышью (полное) *погыбение* Иерусалиму»: «народы, и грады, и царствие, еще же и страны, и воины, и домы... разрушими», «велия стена разорена, и гради раскопани, и святость (святыня) потреблена» и пр. (175, 176).

Из переведенной в XI в. же «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия достаточно привести только один пример «о *погибели* града» — он содержит пояснение, что такое «погибель»: «пременение града от светлости на пустоту, и от лепоты на многостонанныи образъ, и от преславнаго создания на разорениа и на зажигание»[59].

Так что заголовок «Слова о погибели Рускыя земли по смерти великого князя Ярослава» имел в виду хозяйственное или хозяйственно-политическое разорение Русской земли, которое нача-

лось или последовало со смерти Ярослава Мудрого во второй половине XI в.

В «Слове» есть упоминание еще одного неприятного процесса и времени его бытования: «А в ты дни болезнь крестияном от великаго Ярослава и до Володимера, и до нынянняго Ярослава, и до брата его Юрья князя Володимерьскаго» — некая «болезнь христиан» отмечена от Ярослава Мудрого до его внука Владимира Всеволодовича Мономаха и до Владимировых правнуков — до Ярослава Всеволодовича и Юрия Всеволодовича. Фраза очень неясна, не содержит глагола, она, может быть, не закончена, но на ней и обрывается дошедший отрывок «Слова» в обоих списках.

Что такое «болезнь крестияном»? Это выражение, скорее всего, имело переносный смысл и означало горе или несчастье у христиан. Такое словоупотребление было характерным для древнейших памятников. Например, в целом ряде переводных поучительных слов отцов церкви, переписанных в «Успенском сборнике» конца XII — начала XIII в., «болезнь», бесспорно, означала «печаль». Например: «отбеже от васъ *болезнь* и печаль, скорбь и въздыхание»[60] — в данном окружении синонимов «болезнь» и есть печаль, скорбь и т. п. Далее: «обретоста острую сию, и печальную, и *болезньную* жизнь» (300. Слово Иоанна Дамаскина об иссохшей смоковнице) — «болезньныи» и есть печальный. Еще: «бе бо има печаль велика, *болезни* пълъна» (375. Слово Андрея Критского о четверодневном Лазаре) — «болезнь» и составляет печаль.

Очень много раз «болезнь» в переносном смысле как печаль упоминалась в «Повести о Варлааме и Иоасафе», переведенной в XI — начале XII в.: «съхранить себе... чиста от греховъ... трудом и *болезнию*, плачемъ же и рыданиемъ»[61] — «болезнь» значит то же, что «труд» (то есть печаль), плач и пр. Еще пример: «душю бедою и *болезнию* разделяя» (192) — «болезнь» аналогична беде. И совершенно ясно сказано: «моя *болезнь*... несть по обычаю недугъ... но от скорбе и печали душевныя сердцемъ *болю*» (197) — под «болезнью» подразумевается душевное, сердечное болезнование, скорбь. В «Повести о Варлааме и Иоасафе» даже употреблялось словосочетание, близкое к «Слову о погибели Русской земли». В «Слове о погибели»: «болезнь крестияном»; в «Повести о Варла-

аме»: «крестьяньское же болезнь» (122); причем в повести тут же поясняется суть «болезни христиан»: все житейское «печаль творить... скорбь же имать в мире семъ... Крестьянское же болезнь временна» — «болезнь», она же житейская печаль или скорбь у христиан временна, преходяща.

В оригинальных древнерусских произведениях слово «болезнь» тоже нередко употреблялось в переносном значении «печаль, горе», как, например, в летописной повести об убиении Бориса и Глеба под 1015 г. в «Повести временных лет»: «вся напаяюща сердца, горести и *болезни* отгоняща, страсти злыя ицеляюща» (135) — «болезни» отнесены к явлениям сердечным, это горести и страсти.

На фоне многочисленных аналогий можно полагать, что «болезнь крестияном» в «Слове о погибели» означала сердечное или душевное беспокойство, печаль, горе христиан.

Поводы для такой «болезни»-горя не пояснены в дошедшем отрывке «Слова», но сохранилась периодизация «болезни». Прежде всего, это время «от великаго Ярослава и до Володимера». Вряд ли здесь подразумевалось, что «болезнь» христиан длилась сплошь от начала великого княжения Ярослава Мудрого в 1019 г. и до конца великого княжения Владимира Мономаха в 1125 г. Ведь Ярослав Мудрый считался исключительно боголюбивым князем, принесшим огромную пользу христианам: тогда, как восславила то время летопись, «радовашеся Ярославъ, видя множьство церквий и люди хрестьяны», «в печали утешаеми» (148—149), — не «болезнь» и печаль, а радость и утешение. Тем более не могла подразумеваться «болезнь» при Владимире Мономахе, успехи которого «Слово» восхваляло.

Для прояснения смысла выражения «от великаго Ярослава и до Володимера» полезно обратиться к аналогиям в других памятниках, в частности, к «Повести временных лет», где под 852 г. в известной хронологической выкладке по русской истории использованы практически все основные типы выражения «от... до...» с временным значением. Счет велся обычно от начала одного явления до начала другого явления; например: «отъ перваго лета Святославля до перваго лета Ярополча леть 28» (17). Можно было вести счет от конца одного явления и до конца другого явления; например: «отъ смерти Святославля до смерти

Ярославли летъ 85». Но нередко ни начало, ни конец явлений не обозначались; например: «отъ Адама до потопа летъ 2242». В подобных случаях основания для расчета становились расплывчатыми, и подразумевались не столько начало или окончание связываемых явлений, сколько некий момент их полной воплощенности или расцвета. Так что выражение «отъ Адама до потопа» не претендовало на точность и означало нечто вроде «от Адама в расцвете его сил до потопа во всем его объеме».

Таким образом, неясное высказывание в «Слове о погибели Русской земли» о времени «болезни» христиан «от великаго Ярослава и до Володимера», вероятно, так же неточно вело отсчет по неопределенным пикам деятельности этих великих князей — примерно, от второй половины деятельности Ярослава Мудрого и до первой половины деятельности Владимира Мономаха, то есть с 1040-х или 1050-х гг. и по 1110-е гг. (Владимир Мономах стал великим князем в 1113 г.). Значит, «болезнь» продолжалась лет 60.

Но отсюда следует, что время «погибели» = разорения Русской земли и время «болезни» = горя христиан в «Слове» совпадают и относятся ко второй половине XI — началу XII в.

Однако в «Слове о погибели Русской земли» время «болезни» продолжено до Мономаховых правнуков — «и до ныняшняго Ярослава, и до брата его Юрья князя Володимерьскаго». Юрий Всеволодович княжил во Владимире с 1212 г. и до своей смерти в 1238 г.; «нынешний» Ярослав Всеволодович умер в 1246 г. Напомним, что, по мнениям разных ученых, в «Слове» имелось в виду либо время не позже 1238 г., если владимирский князь Юрий Всеволодович упоминался как живой, но был поставлен после Ярослава, который оказался «главнее», так как в этом году являлся князем киевским; или же имелось в виду время до 1246 г., раз Ярослав Всеволодович был назван «нынешним», то есть живым; наконец, могло подразумеваться время и после 1246 г., если толковать определение «нынешний» не как «живущий ныне», а просто как «современный» Ярослав в отличие от «старого, прошлого» Ярослава Мудрого. Так или иначе, но «болезнь» христиан, по периодизации в «Слове», распространялась на первую половину XIII в.

Но выражение «и до ныняшняго Ярослава, и до... Юрья» означало не непрерывное продолжение «болезни» в течение XII–XIII вв., а ее рецидив при Ярославе и Юрии Всеволодовичах. Предыдущие княжения их прадеда Владимира Мономаха, их деда Юрия Владимировича Долгорукого и их отца Всеволода Юрьевича Большое Гнездо «Слово» не могло считать подверженными «болезни», так как восхваляло этих князей. Скорее всего, в последней, оборванной фразе «Слово о погибели Русской земли» неявно наметило два этапа «болезни» христиан на Руси: первый этап – «болезнь» во второй половине XI – начале XII в.; второй этап лет через 100 – «болезнь» в первой половине XIII в., после смерти Всеволода Юрьевича Большое Гнездо в 1212 г.

Если верно предположение о времени, на которое в «Слове» указывали понятия «погибель» Русской земли и «болезнь» христиан, то тогда в дошедшем отрывке памятника по разнице манер изложения можно различить предположительно же более древний и более новый пласты текста. В самом деле, «Слово» начинается описанием красот Русской земли, и описание это ведется в настоящем времени: «многими красотами удивлена еси... всего еси испольнена земля Руская». Но так можно было восхищаться красотами Руси только в ее благополучный период, в отсутствие «погибели» и «болезни». Таких благополучных периодов, по «Слову о погибели», было два: первый – при Ярославе Мудром, в первой половине XI в.; и второй период – от Владимира Мономаха и до Всеволода Большое Гнездо включительно, с начала XII в. по начало XIII в. В любом случае это означает, что описание красот Русской земли появилось до формирования дошедшего до нас текста «Слова о погибели» второй четверти XIII в., 1238–1240-х гг., и что к первоначальному тексту и взамен его были добавлены более поздние вставки.

Прежде чем уточнять датировку первоначального текста, надо уточнить его состав. Дальнейший рассказ в дошедшем тексте «Слова» побуждает подозревать в нем соседство раннего и позднейшего отрывков. Так, можно заметить, что в дошедшем тексте памятника присутствуют рядом два разных перечисления во многом одних и тех же народов. Перечисление народов, опасавшихся Владимира Мономаха, составлено по принципу охвата огромного пространства «крест накрест», преимущественно с юга на

север, с севера на юг, с востока на запад: от половцев — к литовцам; от угров (венгров) — к заморским «немцам» (шведам, скандинавам); от буртасов, черемисов, мордвы — к царьградскому (византийскому) правителю. Перечисление же на сходную тему — «все покорено было» русским князьям — составлено совсем по иному принципу движения по «окружности»: «Отселе до Угоръ, и до Ляховъ, до Чаховъ (чехов); от Чахов до Ятвязи; и от Ятвязи до Литвы, до Немець; от Немець до Корелы; от Корелы до Устьюга, где тамо бяху Тоимици погании, и за Дышючимъ моремъ (Ледовитым океаном); от моря до Болгаръ (волжских булгар); от Болгарь до Буртасъ; от Буртасъ до Чермисъ; от Чермисъ до Моръдви». Непосредственное соседство в памятнике двух принципиально разных этно-географических описаний — явление необычное и уже само по себе вызывает сомнения в их одновременности. Можно думать о большей древности этно-описательного принципа «крест накрест», хотя уверенно утверждать это нельзя из-за отсутствия ясных и близких аналогий в текстах XI—XIII вв. Разве что в «Повести временных лет» под 986 г. о выборе вер Владимиром Крестителем у разных народов летописный рассказ развертывается, кажется, по сходному принципу «крест накрест»: предлагают свою веру болгары волжские — затем «немцы от Рима» — затем хазары — затем греки.

Перечисление же этнических областей или народов (но не географических пунктов!) по принципу «окружности» или «полукруга» имеет лишь более поздние аналогии, не ранее конца XII в. Например, в «Слове о полку Игореве» читается перечень областей по «дуге» от Волги до Крыма: «послушати... Влъзе, и Поморию (азовскому), и Посулию (Сула — левый приток Днепра), и Сурожу, и Корсуню (города в Крыму)» (46); так же по «кругу» перечисляются народы: «немци, и венедици, ту греци, и морава» (50); кстати говоря, и обращение автора к князьям, как отметил Д. С. Лихачев, тоже следует по географической «дуге» последовательно с востока на запад — от Владимиро-Суздальского княжества до княжества Полоцкого[62]. На фоне аналогий предположение о позднейшей вставке «кругового» перечисления народов в первоначальный текст «Слова о погибели Русской земли» кажется правдоподобным, хотя все-таки шатким.

Но есть еще одно свидетельство о возможной вставке этого «кругового» перечня народов: оно извлекается из исторического содержания перечня, который завершается обобщающей фразой, правда, не очень складной и вразумительной в обоих списках «Слова о погибели»: «то все покорено было Богомъ крестияньскому языку поганьскыя страны: великому князю Всеволоду, отцю его Юрью князю Кыевьскому, деду его Володимеру Иманаху». Из этой фразы в обоих списках «Слова» можно понять, что «христианскому языку» были покорены не все перечисленные страны, а лишь все «поганьскыя страны»; из перечисленных же народов языческими или нехристианскими народами в XI–XIII вв. оставались ятвяги, литва, «тоимици погании» и ряд народов от волжских болгар до мордвы. Именно они, как перечислено в дошедшем тексте, были покорены якобы трем князьям: великому князю владимирскому Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо, Юрию, деду Всеволода Владимиру Мономаху.

И вот тут-то видна граница вставки. Дело в том, что, по наблюдениям ученых, каких-либо походов Владимира Мономаха на волжских болгар, на мордву или на литву вообще не зарегистрировано в летописях[63]; напротив же, успешные походы Юрия Владимировича и Всеволода Юрьевича отмечены, например, «Лаврентьевской летописью» под 1120 г. (на болгар), под 1184 г. (на болгар), под 1186 г. (на болгар и мордву). Это значит, что новый, «круговой» перечень народов и новые упоминания князей Всеволода Юрьевича и Юрия Владимировича в известной мере механически были присоединены к первоначальному тексту, к старому упоминанию о Владимире Мономахе и о народах, его опасавшихся.

Есть и третье свидетельство о вставке. Обращает внимание разница в именовании князей. Для первоначального вида «Слова о погибели», вероятно, была характерна лапидарная, без пояснений, манера называния князей: «великый князь Ярослав», «князь великый Володимеръ», или еще короче – «великый Ярослав», «великый Володимеръ», или же совсем просто – «Володимер». А во вставленном тексте новые князья, чтобы избежать путаницы совпадающих имен, обозначались уже иначе – с указанием их родства и области их правления. В результате Владимир Мономах стал упоминаться еще и как «дед».

Аналогичную старую и новую манеру в именовании князей можно наблюдать, например, в «Лаврентьевской летописи». Сначала князья именуются лапидарно, только по именам. Потом, в торжественных сообщениях, князья получают родословные характеристики, вроде такой: «умре Брячиславъ, сынъ Изяславль, внукъ Володимерь, отець Всеславль» (151, под 1044 г.). Затем появляются географические уточнения: «преставися Всеславъ, полоцкий князь» (264, под 1101 г.); «преставися Всеволодько городецьскый князь» (293, под 1141 г.); «Всеволодъ князь кыевьскый приде» (295, под 1144 г.). Позднее все эти сведения начинают объединяться при торжественном упоминании князя: «преставися князь рязаньскый Игорь, сынъ Глебовъ» (391, под 1195 г.) и пр. Так что старое и новое, действительно, просматриваются в дошедшем тексте «Слова о погибели».

Представить же, каков без вставок был первоначальный текст «Слова о погибели Русской земли» в пределах дошедшего текста, можно только сугубо предположительно и отрывочно, но все-таки не так уж расплывчато. В первоначальном виде «Слово о погибели Русской земли», по-видимому, содержало описание красот Русской земли (в настоящем времени), похвалу деяниям Владимира Мономаха (в прошедшем времени) и осуждение предшествовавшего Мономаху периода «болезни» христиан. Эти три фрагмента из дошедшего текста «Слова», по всей вероятности, и восходят к его первоначальному тексту, возможно, и называвшемуся по-другому, а не «Словом о погибели...».

Каких-либо внешних свидетельств о существовании такого предполагаемого сочинения нет. Но есть композиционные аналогии подобному изложению. Например, во введении к «Повести временных лет» цельный трехчастный рассказ составляют географическое описание общепринятого пути через Русь «изъ варягъ в греки» и описание путешествия апостола Андрея по тому же пути (6–7). Первая часть этого рассказа – обзор разных путей на Руси и из Руси – ведется преимущественно в настоящем времени: «потечеть... вътечеть... внидеть» и т. д. Перечисление направлений движения напоминает о принципе «крест накрест»: «Днепръ бо потече из Оковьскаго леса и потечеть на полъдне (на юг); а Двина ис того же леса потечеть, а идеть на полунощье (на север)...; ис того же леса потече Волга

на въстокъ... в болгары и въ хвалисы». Вторая часть летописного рассказа переходит к деяниям главного героя – апостола Андрея – на очерченном пространстве, а ведется уже в прошлом времени: «училъ святый Онъдрей... и проиде въ устье Днепрьское...» и пр. Третья часть рассказа касается времен, даже предшествовавших Андрею, когда поясняет, «како есть обычай» у словен, сложившийся, конечно, задолго до Андрея. Этот летописный рассказ близок по структуре к первоначальному рассказу «Слова о погибели Русской земли», где от обзора красот Руси делался переход к деяниям Владимира Мономаха на Руси и затем затрагивалось время, предшествовавшее Мономаху.

Еще одна структурная аналогия встречается в «Повести временных лет» под 1096 г. Описываются местность далеко на северо-востоке и неведомый народ, там пребывающий, – все в настоящем времени: «суть горы заидуче в луку моря... секуть гору, хотяще высечися... помавають рукою...» и пр. (227). Затем изложение переходит к деяниям героя на этой территории – уже в прошедшем времени: Александр Македонский был здесь, «взыде на всточныя страны до моря... и виде ту человекы нечистыя» и т. д. Затрагивается и время до Александра Македонского: рассказывается о сложившихся обычаях этого народа.

Подобные повествовательные структуры, правда, в кратком виде, использовались и в других памятниках. Например, в «Хождении» игумена Даниила в Палестину начала XII в. (1104–1106 гг.). Описание местности – в настоящем времени: «И ту есть место на пригории»; рассказ о деяниях героя в этих местах – в прошедшем времени: «На то место притече скоро святая Богородица... глаголаше... и узре... и согнуся...»; заход в еще более глубокое прошлое: раскрывается «пророчество Симеона, яко *прежъ* рече святей Богородици»[64].

Скорее всего, то была старая повествовательная традиция. Ведь даже в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия присутствовала та же структура изложения. Например, описание местности у Иерихона – в настоящем времени: над городом «стоить гора... противу же еи стоит гора... межи тема горама есть поле... Въ Ерихоне же есть кладязь...»; затем история – в прошедшем времени: «Тъ же градъ Исусъ, Наввинъ сынъ... добы ко-

пиемь...»; затем – предыстория: «О томь же кладязи слово есть, яко *древле*...» и т. д. (345).

Предполагаемый первоначальный текст «Слова о погибели Русской земли» вполне вписывается в эту повествовательную традицию. Напротив же, дошедший уже со вставками текст «Слова» с его, как получилось в итоге, многоступенчатым углублением в историю – от географического настоящего ко Всеволоду Большое Гнездо, Юрию Долгорукому, Владимиру Мономаху, Ярославу Мудрому – структурно совершенно необычен и находится вне традиции. Сравнительно большая вставка, пожалуй, сама была составлена по традиционной схеме, повторила хронологически трехступенчатую структуру изложения (настоящее – Всеволод – отец его Юрий), принятую в первоначальном тексте «Слова» (настоящее – Владимир Мономах – Ярослав Мудрый) и тем самым усложнила изложение в целом – так можно объяснить нынешнее состояние «Слова о погибели», исходя из предположения о том, что *могло* существовать первоначальное его ядро, или первоначальная редакция.

Теперь вернемся к датировке. По сохранившимся фрагментам можно определить время появления этого гипотетического первоначального текста «Слова о погибели Русской земли». Как уже говорилось, описывать благополучие Русской земли (это первый фрагмент первоначального текста) было уместно в один из двух периодов: или в первой половине XI в., либо с начала XII по начало XIII в. Первый период, скорее всего, отпадает из-за его характеристики в «Слове». Ведь в «Слове о погибели», в третьем фрагменте первоначального текста, сказано: «А *в ты дни* болезнь крестияном от великаго Ярослава и до Володимера...» Выражением «в ты дни» (часто с глаголом «быти») в памятниках обычно обозначали далекое прошлое. Например, в текстах «Успенского сборника»: «лето въторое царствующю Декию... Бе некто *въ ты дни* мужь сановитъ...» (177. Мучение святого мученика Христофора) – речь шла о далеком времени римского императора Деция. Или: «*Въ ты же дни* бяше начальникъ священникомъ...правоверьныи обьщии отець нашь Герьманъ», «*въ ты же дни* нечьстивыи Анастасии нечьстивьно нача дерьжати священьство» (250, 251–252. Житие мученицы Феодосии, «мучене при Констянстине Кавалине») – о времени византийского императора Констан-

тина Копронима. Выражением «въ ты годы» также обозначалось давнее прошлое. Так, в «Чтении о Борисе и Глебе» XI – начала XII в.: «Бысть бо, рече, князь *въ тыи годы*... именемь Владимеръ»[65] – автор вспоминал о деятельности Владимира Крестителя, прежде чем перейти к его детям. И вообще, выражением «въ ты...» во временном значении обозначалось давно прошедшее время, плюсквамперфект, какие бы существительные ни употреблялись. Ср. в «Слове о полку Игореве»: «То было *въ ты* рати и *въ ты* плъкы» (48) – поминаются войны и походы давнего XI в. По-видимому, и в «Слове о погибели Русской земли» выражение «в ты дни» (глагол «быти», очевидно, подразумевался) указывало на давно прошедшие для автора времена «от великаго Ярослава и до Володимера» XI – начала XII в. (если только «в ты дни» не позднейшая вставка). Так или иначе, но имеется повод для догадки о том, что предполагаемый первоначальный текст «Слова о погибели» мог появиться в XII – начале XIII в.

Эту датировку подтверждают аналогии основным литературным мотивам в рамках первоначального текста «Слова». Аналогии обнаруживаются именно в памятниках, не переступивших за начало XIII в. Часть аналогий уже была приведена выше. Добавим еще.

Первый фрагмент первоначального текста – описание красот Русской земли – имеет сравнительно богатую аналогию с началом же «Шестоднева» Иоанна Экзарха, хорошо известного на Руси уже в XI в. «Слово»: «...украшена земля Руськая... реками и кладязьми... горами... холми... дубравоми... птицами бещислеными... винограды... – всего еси испольнена...». «Шестоднев»: «небо... *украшено*... и *земля* садом и *дубравами*... и *горами*... и *рекы*... рыбами *исплънены*», «*рекы*... и *кладеци*» (колодцы), «*дубравы* и... *горы*», «*птице* еже *бечисмене*» (бесчисленные)[66]. Характер сходства элементов перечисления в обоих памятниках указывает на то, что тут «Слово о погибели Русской земли», конечно, восходило не непосредственно к «Шестодневу», а к очень старой традиции описания природы, когда вкупе обычно упоминались украшенность, наполненность, земля, реки, колодцы и источники, горы, холмы, дубравы, сады или «винограды», птицы... Поэтому не удивительно, что природоописательные аналогии «Слову» обнаруживаются и в других, но тоже древних, предшествовавших «Сло-

ву о погибели» произведениях, как, например, в «Слове о десяти девицах» Иоанна Златоуста (один из его списков находится в «Успенском сборнике»): «тъ бо... *украшеныи* ликъ звездныи основа... *землю напълни... горы*, и *дубравы, хълмы*, источъники... *рекы...* роды садовьныя» (315). Слабую аналогию к последовательности описания элементов ландшафта в «Слове» можно найти также в «Хождении» игумена Даниила: «ни *рекы*, ни *кладязя...* несть... Суть *винограда* мнози...», «несть *рекы...* ни *кладязя...* в *горах...*» (48, 58).

В произведениях же конца XII–XIII вв. уже не встречается специальных описаний природы, подобных «Слову о погибели», и лишь иногда почти неузнаваемые сочетания знакомых элементов попадаются в отрывках на совершенно иные темы. Например, в «Слове о полку Игореве»: «наступи на *землю* Половецкую, притопта *хлъми...* взмути *реки* и *озеры»* (50). Или совсем в метафорическом значении в «Молении Даниила Заточника»: «Зане князь щедръ, аки *река*, текуща... сквози *дубравы...* А бояринъ щедръ, аки *кладяз сладокъ*»[67]. Но все это в лучшем случае только отзвуки старой природоописательной традиции, к которой гораздо ближе оказывается «Слово о погибели Русской земли», возможно, оттого, что оно появилось еще до конца XII в.

Второй фрагмент первоначального текста «Слова о погибели», посвященный Владимиру Мономаху, тоже перекликается именно со старыми памятниками. Так, мотив страха всех стран, включая «поганых», перед Владимиром Мономахом разрабатывался кроме «Слова о погибели» только в особых летописных похвалах Мономаху под 1125 г. в «Лаврентьевской летописи» и под 1126 г. в «Ипатьевской летописи». Вошедший в похвалу Мономаху мотив металлических ворот, которыми отгораживаются или отгораживают от опасности, – в «Слове» это «угры (венгры) *твердяху каменыи городы железными вороты*, абы на них великыи Володимеръ тамо не вьсехалъ» – в XIII в., насколько нам известно, не встречается, а имеет некоторую аналогию только раньше – в «Ипатьевской летописи» под 1201 г., где напоминается какая-то старая легенда, посвященная «Мономаху, погубившему поганыя... половци, изгнавшю... за Железная врата» (716); вне связи с Мономахом железные врата упоминаются фразеологически сходно в «Хождении» игумена Даниила: «сделано есть около *градом каменым твердо, врата* же имат *железна* град-от» (96); еще

одна относительная аналогия, но уже с медными вратами, извлекается из «Повести временных лет» под 1096 г., где пересказана древняя легенда о «нечистых народах», которые «заклепени» Александром Македонским «в горах»: «и ту створишася врата медяна и помазашася сунклитомъ... ни огнь можеть вжещи его, ни железо его приметь» (228). Так что повествование о Владимире Мономахе как первоначальное ядро «Слова о погибели Русской земли», пожалуй, обладает чертами древности XI–XII вв.

Правда, не все мотивы «Слова о погибели» подтверждают его древность, но только из-за того, что мотивы эти не находят параллелей в древнейших памятниках; хотя параллели есть в несколько более поздних произведениях. Например, высказывание о «немцах» в «Слове о погибели» – «далече будучи за синимъ моремъ» – соотносится со «Словом о полку Игореве», в котором неоднократно упоминается «синее море» (49, 50, 51, 54); выражение «далече будучи» в «Слове о погибели» перекликается с выражением «далече залетело» в «Слове о полку Игореве» (47); а глагол «быти» в значении «находиться» неоднократно употребляется в «Слове о полку Игореве»: «прелетети издалеча... Аже бы ты былъ», «не бысть ту (тут) брата», «князю Игорю не быть» (в плену) и пр. (51, 53, 55). Знаменитое восклицание «Слова о погибели» – «О, светло светлая... земля Руськая... всего еси испольнена...» – сходствует с не менее знаменитым восклицанием «Слова о полку Игореве» – «О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!» (46, 47), а также со словосочетанием «светъ светлыи» (46). Однако эти параллели в «Слове о полку Игореве» настолько дробны в каждом случае, что заставляют предполагать не влияние одного произведения на другое, а общую ориентацию обоих памятников на какую-то древнюю литературную традицию, но бóльшую близость к ней все-таки «Слова о погибели Русской земли».

Представить в цельном виде эту литературную традицию XI–XII вв. мы пока не можем, но разрозненные отголоски ее, сходные с мотивами и фразеологией «Слова о погибели Русской земли», можем указать, кроме «Слова о полку Игореве», и в некоторых более поздних памятниках. Например, в торжественном слове Моисея Выдубицкого, помещенном под 1199 г. в «Ипатьевской летописи», восхваляется киевская «держава», которая «не

токмо и в Руских концехъ ведома, но и сущимъ в море далече» (713. Ср. в «Слове о погибели»: «далече будучи за... моремъ»). В «Похвале роду рязанских князей», заключающей «Повесть о разорении Рязани Батыем» в 1237 г., сказано, что рязанские князья у греческих царей «дары... многи взимаша»[68] (ср. в «Слове о погибели»: император «цесарегородскыи... великыя дары посылаша» ко Владимиру Мономаху). Но опять-таки «Слово о погибели» богаче сочетаниями древних элементов, чем эти памятники. Все это позволяет относить первоначальный текст «Слова о погибели» ко времени даже ранее конца XII в.

Больше того, характеристика Мономаха как главное содержание второго отрывка первоначального текста побуждает резко сузить его датировку. Такая обобщающая похвала деяниям Мономаха могла появиться, вероятно, лишь после его смерти в 1125 г., во второй четверти XII в., пока в Киеве правили поочередно его сыновья. Отсюда и первый отрывок первоначального текста можно также отнести ко второй четверти XII в., ибо благополучие всей Русской земли допустимо было превозносить хотя и после смерти Владимира Мономаха, но, пожалуй, до разгрома Киева в 1169 г. Андреем Боголюбским. Подчеркнем, правда, что не обнаруживается никаких определенных следов существования «Слова о погибели Русской земли» в XII в., тем более в первой половине XII в., и предположение о первоначальном виде «Слова» остается лишь предположением.

В целом, мы еще яснее видим, что история «Слова о погибели Русской земли» свелась к погибели самого «Слова». Первоначальный текст «Слова» второй четверти XII в. претерпел замены и вставки лет через 100, не ранее второй трети XIII в.[69]; этот новый текст XIII в., в свою очередь, был подвергнут разрушительной экзекуции, по догадкам исследователей, то ли вскоре, в 1263—1283 гг., то ли только через 200 лет, в 1450—1480-е гг., и в качестве строительного материала, притом с поновлениями и искажениями, оказался присоединенным к «Житию Александра Невского»[70], вне которого мы «Слова о погибели» и не знаем. Однако, как можно убедиться, при изучении повествовательной манеры памятника появляются некоторые основания для того, чтобы представить гипотетический первоначальный текст «Сло-

ва о погибели Русской земли» как самостоятельное произведение — предшественник «Слова о полку Игореве».

### 4. «Житие Александра Невского» и фразеология летописания XII в.

Переход книжников к старательному использованию сложившихся фразеологических форм, к мелко-компилятивной манере изложения заметен на раннем примере «Жития Александра Невского», написанного во Владимире в 1282–1283 гг.[71] и затем всегда идеологически очень ценимого.

Начнем анализ не с идеологии, а с фразеологии памятника — с рассказа о знаменитом Ледовом побоище, задавшись вопросом, в какой манере он написан. Д. С. Лихачев обратил преимущественное внимание на «круг южнорусских памятников, литературная манера которых отразилась и в Житии Александра»; подчеркнул, что «житие несет в себе западнорусскую, галицкую литературную традицию»[72]; и к рассказу о Ледовом побоище привел параллель из южной «Галицкой летописи» и из переводной «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, которую переписывали в составе южнорусских же компилятивных хронографов домонгольского времени[73].

Сопоставим уже найденные учеными сходные выражения (отмечены курсивом) в описаниях разных битв разными памятниками. «Житие Александра Невского», рассказ о Ледовом побоище: «трускъ от *копий ломления* и звукъ от сечения *мечнаго*... и не *бе видети* леду»[74]. «Галицкая летопись» под 1240 г.: «и ту *беаше видити ломъ копеины*»[75]; та же летопись под 1249 г.: «крепко *копьем* же *изломившимся*, яко от грома тресновение бысть... от крепости ударения копеиного» (803). «История» Иосифа Флавия: «*бысть видети лом копийны* и скрежетание мечное»[76]. Сходство есть, но очень скудное между «Житием», с одной стороны, и «Галицкой летописью» с «Историей» Флавия, с другой стороны. С «Историей» Флавия даже больше сходных элементов, чем с «Галицкой летописью».

Но добавим до сих пор еще не проводившиеся сопоставления — с **«Киевской летописью»**. Начнем со статьи под **1174 г.** Точек соприкосновения при описании битв оказывается доволь-

но много. «Житие»: «съступишася *обои, и бысть* сеча зла и трускъ от *копий ломления и звукъ* от сечения мечнаго... и не *бе видети* леду» (171). «Киевская летопись»: «смятошася *обои, и бысть* мятежь великъ, и гласе незнаеми, и ту *бе видити ломъ копииныи и звукъ* оружьныи» [77]. Еще есть соответствия в тех же рассказах. «Житие»: «*помощию Божиею... гоняше*» (171). «Киевская летопись»: «*Бога... помочь* невидимо *гонящее*» (577). «Житие»: «и бяше *множество* полоненых» (172). «Киевская летопись»: «и *много* колодникъ изьимаша» (577). Явственные соответствия: столкнулись оба, была схватка, лом копий, звук, гонят Божьей помощью, много пленных. К «Житию» ближе рассказ из «Киевской летописи» XII в., чем фраза из «Галицкой летописи» XIII в.

Не только с одной статьей, но с целым рядом статей именно «Киевской летописи», а не «Галицкой летописи» перекликается рассказ «Жития» о Ледовом побоище. Сравним «Житие» с «Киевской летописью» — по хронологии ее статей, начиная с **1111 г.** «Житие»: «Князь же Александръ воздевъ руце *на небо* и рече: “Суди ми, Боже...” ...и *съступишася обои*, и бысть сеча зла и трускъ от копий... *яко видех* полкъ Божий на въздусе пришедши на *помощь* Александрови... И *даша плеща своя...*» (170—171). «Киевская летопись»: «възведше очи свои *на небо*, призываху Бога вышняго и бывшю же *соступу* и брани крепце... и посла Господь Богъ ангела в *помощь* русьскимъ княземъ... и тресну аки громъ... и брань бысть люта межи ими и падаху *обои*... половци *вдаша плещи свои на бегъ*... невидимо бьеми ангеломъ, *яко* се *видяху* мнози человеци» (267). Ср.: «воздев на небо» — «взведше на небо»; «съступишася обои» — «бывшю же соступу... падаху обои»; «яко видех» — «яко се видяху»; «пришедши на помощь» — «посла... в помощь»; «даша плеща своя» — «вдаша плещи своя»; «трускъ» — «тресну» и пр. И еще в конце рассказов наблюдается сходство. «Житие»: «И *возвратися* князь Александръ с победою *славною*... И нача слыти имя его по *всемъ странамъ... и до* великого *Риму*» (172—173). «Киевская летопись»: «*возвратишася* русьстии князи въ свояси съ *славою* великою къ своимъ людемъ, и ко *всимъ странамъ* далнимъ рекуще... *и до Рима* проиде...» (273). Характер сходства свидетельствует о том, что автор «Жития» обильно использовал фразеологический материал «Киевской летописи».

Но статья под 1111 г. – это все-таки еще «Повесть временных лет» третьей редакции, хотя и в составе Киевского летописного свода 1200 г.[78]

Однако если обратиться к массиву собственно «Киевской летописи», то сходства «Жития» с летописью не иссякают. Вот «Житие» о Ледовом побоище и под **1149 г.** летопись. «Житие»: «*и поидоша противу себе... въсходящю солнцю* и *съступишася* обои, и *бысть сеча зла*» (171–172). «Киевская летопись»: «*и поидоша* полкы своими *противу* имъ... *поидоша* полци к *собе*, яко *солнцю въсходящю, ступишась, и бысть сеча зла* межи ими» (382). Автор «Жития» явно использовал фразеологию и композицию киевского летописного повествования.

В рассказе о Ледовом побоище из «Жития» заметны также некоторые элементы сходства с последующей летописной статьей под **1178–1179 гг.** «Житие»: «Князь же Александръ *въздевъ руце на небо*» (170); «сего *дасть* ему *Богъ в руце* его» (171–172). «Киевская летопись»: «*воздевъ руце на небо...* и *предастъ* душю свою *в руце Божие*» (стб. 609). «Житие»: «*И возвратися* князь Александръ *с победою славною*» (172). «Киевская летопись»: «и *возъвратишася* во свояси, приимше от Бога на поганыя *победу славою* и честью великою» (608). Тут тоже ощутимо влияние россыпи летописных выражений на «Житие».

В целом же, рассказ о Ледовом побоище в «Житии» впитал очень много запомнившихся автору выражений из «Киевской летописи». Например, дружина в «Житии» говорит Александру перед битвой: «ныне приспе время нам *положити главы своя* за тя» (170). Подобная формула просто бродит по летописи: «хочемъ же... *головы свое сложити*» (427, под 1151 г.; 466–467, под 1153 г.), «*головы своя складаемъ*» (480, под 1155 г.), «*за тя головы свои съкладываемь*» (605, под 1177 г.).

И иные рассказы «Жития», не только о Ледовом побоище, подтверждают ориентацию автора на «Киевскую летопись». Например, известная летописная повесть под **1185 г.** о походе князя Игоря на половцев фразеологически раздробилась по разным местам «Жития». «Киевская летопись»: «*утеръ слезъ* своих... и *бысть* скорбь и *туга* люта, *яко же* николи же *не бывала...*» (645). «Житие»: «утеръ слезы» (163), «*бысть* же вопль, и кричание, и *туга,*

*яко же несть была*» (179). «Киевская летопись»: «*уполошась приезда* ихъ» (650). «Житие»: «*полошати*... ркуще:... *едет*» (174).

Еще одно соответствие элементов повествования. «Киевская летопись» под **1152 г.**: «пригна ему *посолъ* от *короля*... молвить: "*Се уже сде*..." ...Изяславъ же то *слышавъ*...» (447). «Житие»: «*король*... посла *слы своя*... глаголя: "...*се* есмь *уже зде*..." ...Александръ же, *слышавъ* словеса сии...» (162).

Многочисленные одиночные фразеологические элементы, повторяющиеся в «Киевской летописи», использовал автор «Жития» то тут, то там. Например, «Киевская летопись»: «онемь же пакостящимъся» (404, под 1150 г.), «начаша пакостити» (526, под 1167 г.), «всяко пакостити» (541, под 1170 г.). Соответственно «Житие»: «начаша пакостити волости Александрове» (173). Так же многократно в «Киевской летописи» повторялись фразы о восходе солнца и о воздевании рук на небо, и сходные выражения попали в «Житие».

Мы далеко не исчерпали всех фактов фразеологического влияния «Киевской летописи» на «Житие Александра Невского»: оно, быть может, было более значительным, чем галицкое влияние, особенно в воинских эпизодах «Жития».

Обнаруживается еще один, уже не чисто южнорусский и притом совсем неизученный источник «Жития» — северо-восточное летописание, представленное «**Лаврентьевской летописью**». Рассмотрим летописные статьи в хронологическом порядке, начиная с «Повести временных лет», и рассказ «Жития» о Ледовом побоище. Под **1019 г.** летопись рассказывает о битве: «Ярославъ... *въздевъ руце на небо, рече:* "...Брата моя!.. *помозета ми*..." И се ему рекшю, *поидоша противу собе, и покрыша* поле Летьское *обои отъ множьства вой. Бе же* пятокъ *тогда, въсходящю солнцю, и сступишася обои, бысть сеча зла... яко* по удольемь *крови* тещи»[79]. «Житие»: «*и поидоша противу себе, и покриша* озеро Чюдьское *обои от множества вои*... Князь же Александръ, *воздевъ руце на небо, и рече*: "...*помозе ми*, Господи...". *Бе же тогда* субота, *въсходящю солнцю, и съступишася обои, и бысть сеча зла... яко* же *покры* бо ся *кровию*» (170—171). Не трудно убедиться, что приведенный отрывок из «Жития» содержит гораздо больше элементов сходства со статьей под 1019 г. «Лаврентьевской летописи», чем со статьями «Киевской летописи» под 1149, 1174, 1178—1179 гг. и с «Повестью временных лет» под

1111 г. по «Ипатьевской летописи» (ср. выше). Та же статья под 1019 г. есть и в «Ипатьевской летописи», но она отличается мелкими разночтениями от статьи в «Лаврентьевской летописи», а «Житие» оказывается, пожалуй, ближе к тексту лаврентьевскому: в частности, в «Лаврентьевской летописи» и в относящихся к ней списках, а также в «Житии» сказано, что «сступишася обои»; в «Ипатьевской летописи» же и в относящихся к ней списках явно искажено — «совокупишася обои». Так что в данном отрывке «Житие», вероятно, восходило к «Повести временных лет» в северо-восточном летописании (или Владимирском своде) XII в.[80]

Перейдем к последующим воинским статьям «Лаврентьевской летописи», то есть северо-восточного летописания XII в., отразившегося в рассказе о Ледовом побоище в «Житии». Под **1149 г.** «Лаврентьевская летопись»: «Яко *солнцю заходящю, сступишася обои, и бысть сеча зла»* (306); «Житие»: «*въсходящю солнцю,* и *съступишася обои, и бысть сеча зла*» (171). «Лаврентьевская летопись»: «*похвалу* ему *даша* велику» (308); «Житие»: «*подающе хвалу*» (172). На этот раз тоже можно говорить о фразеологической зависимости «Жития» от большего числа элементов владимирского летописного изложения, хотя и не от конкретного летописного эпизода.

Далее сходство наблюдается между Владимирским сводом под **1176 г.** и опять-таки рассказом о Ледовом побоище в «Житии». «Лаврентьевская летопись»: «*Богови* паки *помагающю* ему и оправившю *предо всеми* человекы. Михалко... поеха въ Володимерь с честью и с *славою* великою... *ведущимъ* предъ нимъ колодникы... Выидоша *со кресты* противу Михалку и брату его Всеволоду *игумени и попове и вси* людье» (357). «Житие»: «победи я *помощию Божиею*... Зде же *прослави* Богъ Александра *пред всеми* полкы... и возвратися князь Александръ с победою *славною.* И... полоненых... *ведяхуть*... И яко же приближися... *игумени* же *и попове и весь* народ сретоша и предъ градомъ *съ крестъı*» (171—172). И еще соответствия обнаруживаются по ходу летописного изложения. «Лаврентьевская летопись»: «*головы свое положимъ... за* тые князи... Се бо володимерци *прославлени Богомъ по всей* земьли» (359). «Житие»: «ныне приспе время нам *положити главы своя за* тя» (170); «и нача слыти имя его *по всемь* странамъ» (173). Автор «Жития», видимо, припоминал целые блоки владимирского летописного повествования, а не только отдельные выражения.

Сравним еще одну летописную статью с «Житием». «Лаврентьевская летопись» под **1177 г.**: «узреша чюдную матерь *Божью* Володимерьскую... аки *на воздусе* стоящь» (361); «Житие» о Ледовом побоище: «яко видех полкъ *Божий на въздусе*» (171). Соответствия продолжаются. «Лаврентьевская летопись»: «*поидоша* к *собе* на грунахъ *обои и покрыша* поле Юрьевское... *поведоша* колодникы... и наказалъ по достоянью *рукою* благовернаго князя Всеволода...» (362–363); «Житие»: «*поидоша* противу *себе и покрыша* озеро Чюдьское *обои...*» (170); «полоненых... *ведяхуть*... свободи градъ Псков от иноязычникъ *рукою* Александровою» (172). Есть еще некоторые соответствия, но и так ясно, что автор «Жития» в рассказе о Ледовом побоище больше использовал фразеологию северо-восточных воинских рассказов, чем киевских. В частности, сообщения «Жития» о том, что войска покрыли озеро, что на воздухе был виден полк Божий в помощь Александру, которого Бог прославил перед всеми и которого встретили с крестами, — все эти детали восходят к северо-восточным летописным воинским рассказам, а не киевским. Правда, многие соответствия встречаются в обеих летописях (летописцы читали друг друга), а единичные соответствия попадаются только в «Киевской летописи», вроде выражения «даша плеща». В целом же, рассказ о Ледовом побоище в «Житии» — фразеологически сборный из разных воинских сочинений, но за основу автор взял повествование Владимирского свода.

Тесную связь остального текста «Жития», уже помимо рассказа о Ледовом побоище, с северо-восточным летописанием раскрывают некоторые летописные статьи, из которых особенно обильно автор «Жития» почерпнул довольно специфические выражения. Например, небольшая статья под **1125 г.**, содержащая некролог Владимиру Мономаху, пользовалась особым вниманием автора «Жития» — последуем за ее изложением. Летопись: «*прослувый* в победахъ, *его имене* трепетаху *вся страны,* и *по всемъ* землямъ изиде слухъ его» (279); «Житие»: «И нача *слыти имя его по всемъ странамъ*» (173); «промчеся весть его» (174). Немного далее в летописной статье следует фраза: «Вся бо зломыслы его *вда Богъ* подъ *руце его*» (279); «Житие»: «сего *дасть* ему *Богъ* в *руце его*» (171–172). Последующие фразы в летописной статье: «добро творяше врагомъ своимъ, *отпущаше* я одарены, *милостивъ* же

*бяше паче меры»* (279); «Житие»: «а инех помиловавъ, *отпусти,* бе бо *милостивъ паче меры»* (169). Еще немного дальше в летописном тексте: *«сродникома своима,* к *святыма мученикома Борису и Глебу»* (280); «Житие»: *«святая мученика Бориса и Глебъ... сроднику своему* князю Александру» (165). Летопись: *«Жалостивъ же бяше»* (280); «Житие»: *«Жалостно же бе...»* (163). Затем фраза в летописной статье: *«в церковь внидяшеть,* и *слыша* пенье, и абье слезы испущаше, и тако *молбы... со слезами* воспущаше...» (280); «Житие»: *«слышав* словеса сии... *вниде в церковь...* нача *молитися съ слезами»* (162). Потом следуют еще соответствия. Летопись: «Богъ... исполни *лета* его в доброденьстве» (280); «Житие»: «удолъжи Богъ *лет* ему» (175). Редкий эпитет повторяет «Житие». Летописная статья: «у *милое* церкве» (280); «Житие»: *«милаго* Александра» (164) – этот эпитет гораздо раньше был употреблен во владимирском летописании, чем в галицком[81]. В конце летописной статьи: *«укрепивъся* Божьею помощью, *не жда* иное помощи ни брата, ни другаго» (281); «Житие»: «нача *крепити* дружину свою... *не съждався* съ многою силою своею» (163). И наконец, заключительная фраза: *«победи...* и тако *воротися князь* Ярополкъ, *хваля и славя* Бога» (281); «Житие»: *«Князь* же Александръ *возвратися* с победою, *хваля и славя* своего Творца» (168). Влияние этой летописной статьи 1125 г. на повествование автора «Жития» несомненно.

Автор «Жития» был начитан и в более позднем, уже владимиро-ростовском летописании XIII в. (оно тоже представлено «Лаврентьевской летописью»). Вот, например, статья под **1230 г.**: Летопись: *«потрясеся земля... дивнаго* того *чюдесе»* (431); «Житие»: «яко и *земли потрястися... чюдо дивно»* (179). Далее летопись: «тако *слышахомъ* у *самовидець»* (432); «Житие»: «се же *слышах* от *самовидца»* (171). И вот еще какое соответствие. Летопись: *«солнце* нача *погыбати... людемъ всемъ* отчаявшимъся своего житья, мняще *уже* кончину сущю» (432); «Житие»: «зайде *солнце...* и *вси людие* глаголаху: "*Уже погыбаемъ*"» (178). Автор «Жития» в данном случае вольно использовал фразеологию летописного рассказа для своих тем, не схожих с летописными.

Сравнительно с последующей статьей под **1237 г.** в «Житии» заметна та же временами вольная передача летописных выражений. Опять посмотрим по ходу статьи. Летопись: «отъ *Всточьные страны»* (437); «Житие»: «на *Въсточней стране»* (173). Летопись:

«почаша *воевати* Рязаньскую *землю,* и *пленоваху... попленивше...*» (437); «Житие»: «посла... *повоевати землю* Суждальскую. По *пленении* же...» (174—175). Летопись: «*молящюся со слезами*» (442); «Житие»: «нача *молитися со слезами*» (162). Летопись: «*нудиша...* быти въ ихъ воли и *воевати* с ними» (442); «Житие»: «*нужда...* веляще *с* собою *воиньствовати*» (177). Летопись: «звезду светоносну *зашедшю*» (443); «Житие»: «*зайде* солнце» (178) — оба выражения имеют в виду умерших князей. Летопись: «Се бо и *чюдно бысть... вложиша* ю в гробъ к своему телу» (444); «Житие»: «*Бысть* же тогда *чюдо* дивно... положено бысть святое тело его в раку... да *вложат* ему...» (179). И последнее, больше смысловое, чем фразеологическое соответствие. Летопись: «тотъ никако же у иного князя *можаше* быти за любовь его» (444); «Житие»: «добра господина не *мощно* оставити» (178). Судя по соответствиям, изложение в «Житии» могло быть навеяно этой летописной статьей не индивидуально, а вкупе со всем северо-восточным летописным повествованием XII—XIII вв.

Общая картина ясна: автор «Жития», во-первых, пользовался не только простой россыпью привычных летописных выражений (владимирских, киевских, галицких), но иногда и фразеологическим составом конкретных летописных отрывков, а в отдельных случаях и целых рассказов; во-вторых, автор «Жития» использовал вперемешку фразеологию множества иных источников (см. известные работы В. П. Мансикки и Н. И. Серебрянского о «Житии»), то есть автор стремился создать солидное, основанное на авторитетной фразеологии повествование.

Это стремление книжника к авторитетности его повествования привело к массе фразеологических повторов в «Житии», к подчеркиванию в рассказах чего-то благопристойно однотипного. Так, с начала «Жития» из эпизода в эпизод у автора переходят упоминания о силе: «*сила* же бе его часть от *силы* Самсоня... Възврати к граду *силу* ихъ... некто *силенъ* от Западныя страны... събра *силу* велику... подвижеся в *силе* тяжце... в не *силах* Богъ... съ многою *силою* своею... уведав *силу* ратных... подивишася *силе* его... в велице *силе...* яко же... *силнии...* царь *силенъ...* в *силе* велице» (160—174) и т. д. Повторяются упоминания и о руках: «*рукы* дръжаща... от *рукы* его... имемъ его *рукама...* воздевъ *руце...* в *руце* его... *рукою* Александровою... *рукама* изыма... распростеръ *руку*» и пр. (165—

170). Повторяются упоминания о сердце («разгоресея *сердцемъ*», «не имея страха в *сердцы* своем», «*сердца* ихъ акы *сердца* лвомъ», «урвется *сердце*» — 162–177), но особенно часто — о слышании вестей персонажами и самим автором. Повторы обычны даже внутри небольших эпизодов; например: «*святое крещение*... въ *святемъ крещении*... видети видение *страшно*... слыша шюмъ *страшенъ*... отъиде от *очию* его... радостныма *очима* исповеда...» (164–166). Однотипные эпизоды, конечно же, излагаются фразеологически однотипно: и король «пыхая *духомъ ратным*» (162), и «мужи Александровы исполнишася *духом ратнымъ*» (170) и т. п. Все это подтверждает ощущение, что мы имеем дело с литературным творчеством[82].

«Житие Александра Невского» позволяет предположить, что довольно рано, с конца XIII в. новый тип уже традиционно-комбинаторного, компилятивно-фразеологического словесного творчества пришел на смену прошлому первооткрывательскому, яркому архаическому творчеству.

## 5. Новые мотивы в «Слове о погибели Русской земли» и «Задонщине» по спискам второй половины XV в.

«Слово о погибели Русской земли» XIII в. дошло до нас в псковском сборнике последней четверти XV в., 1486–1487 гг., и в псковском же сборнике середины XVI в., 1547–1558 гг.[83] Мы рассматриваем реально дошедший текст XV в. соответственно как литературное явление уже XV в.

Смысл повествования в списках XV в. стал несколько иным сравнительно с предполагаемым текстом XIII в. Вот как, например, разные народы охарактеризованы в «Слове»: при Владимире Мономахе «литва из болота на светъ не выникываху; а угры твердяху каменыи городы железными вороты, абы на них великии Володимеръ тамо не вьсехалъ; а немци радовахуся, далече будуче за синимъ моремъ»[84]. Конкретные детали в этой характеристике наверняка связаны с древнерусской литературной архаикой[85], но кажутся более новыми какие-то опасливо-владельческие мотивы в тексте XV в.: угры — огородились в своих каменных городах с железными воротами, «абы на них великыи

Володимеръ тамо не вьсехалъ»; литва — в своих болотах боится и высовываться; «немци» — «радовахуся, далече будуче» от угрозы захвата их земли у себя за Синим морем; греки — боятся потерять принадлежащий им Царьград («жюръ Мануилъ цесарегородскыи опасъ имея... абы подъ нимъ великыи князь Володимеръ Цесарягорода не взял»). И совсем уже хозяйственно-бытовые занятия указываются у остальных народов: буртасы, черемисы, веда и мордва — «бортьничаху»; а половцы — «дети своя ношаху в колыбели». Русская земля также отличается одним главным качеством — богатством материальным: «многыми красотами удивлена еси... всего еси испольнена»; и части этого богатства — все превосходные хозяйственно или очень представительные: города — бесчисленные или великие, села — великие или дивные, «винограды обителные» — дивные, озера — многие, горы — крутые, холмы — крутые или высокие, дубравы — высокие или частые, поля — чистые или дивные, дикие звери — различные, разные птицы — бесчисленные и пр. К тому же «великыя дары» посылает на Русь царьградский правитель.

Хозяйственно-материальные мотивы стали заметны сквозь привычные воинско-уважительные темы («князьми грозными... все покорено» и т. д.), пожалуй, именно в отредактированном или искаженном отрывке XV в., но эти мотивы, вероятно, были слабее или отсутствовали в «Слове» XIII в. Предполагать это позволяет масса искажений в тексте XV в., а они-то как раз и вносят хозяйственные мотивы в изложение. Самое показательное место — о половцах; фраза явно искажена: «Володимеру Иманаху, которымъ то половоци дети своя ношаху в колыбели»; в произведении XIII в. должно было быть на самом деле: «Володимеру Манамаху, которымъ то половоци дети своя полошаху в колыбели»[86]. В перечне народов — тоже какой-то сбой и пропуск, отчего тоймичи с притоков Северной Двины оказались землевладельцами «и за Дышючимъ морем»[87]. Особенно сильна путаница в распределении большинства эпитетов при перечислении благ Русской земли — как первоначально распределялись эпитеты, можно гадать до бесконечности, но теперь, в списках XV в., они двусмысленно могут относиться к разным соседним существительным попеременно или одновременно и тем самым усиливать хозяйственную добротность объектов: «различными птицами

бещислеными», «бещислеными городы великыми», «великыми селы дивными», «дивными винограды обителными» и т. п. Один из эпитетов читается по-разному, потому что записан под титлом универсально: «чстыми»[88] — если дубравами, то «частыми»; если полями, то «чистыми»; так дополнительно разнообразится богатство: «высокими дубравоми частыми» и одновременно «чистыми польми дивными». Другой из эпитетов, возможно, был искажен: наверное, было — «дивиими зверьми», стало — «дивными зверьми различными» — опять-таки хозяйство богаче. В общем, по отрывку «Слова» видно, как старый романтический текст в результате мелких искажений и невольных переосмыслений в XV в. наполнился материально-хозяйственными мотивами.

Аналогии подтверждают закономерность накопления новопоявившихся хозяйственных мотивов в поздних списках «Слова» — ведь произведение было связано с четырьмя периодами. Во-первых, с XII в.: с литературой XII в. перекликается, как хорошо известно, многое в отрывке «Слова», но все-таки не хозяйственно-материальные мотивы. Во-вторых, с XIII в.: современная «Слову» литература первой половины XIII в. тоже не отличалась распространением хозяйственных мотивов. В-третьих, с концом XIII в.: отрывок «Слова» составил вступление к «Житию Александра Невского» 1282—1283 гг.; однако ни в «Житии», ни в других произведениях второй половины или конца XIII в. нет похожих материальных мотивов тоже. В-четвертых, с XV в.: «Слово» было присоединено к «Житию» в 1450—1480-е гг.[89], и вот в это время обнаруживаются тематические аналогии списку «Слова» 1486—1487 гг., так как хозяйственные и имущественные мотивы стали очень заметны в литературе именно XV в.[90]

Самая близкая повествовательная аналогия «Слову о погибели» — Кирилло-Белозерский список «Задонщины» 1470—1480-х гг.[91], содержащий тоже преимущественно начальную, к тому же сокращенную часть произведения[92], причем со знаменательным заимствованием, в сокращении же, одного места из «Слова о погибели Русской земли»[93]. Хотя сама «Задонщина» конца XIV — начала XV в. уже была хозяйственна своей манерой изложения сравнительно с аристократичным «Словом о полку Игореве», но список 1470—1480-х гг. еще больше добавил обыденные и приземленные мотивы в изложение.

Особенно по изображению природы в этой очень краткой редакции «Задонщины», составленной Ефросином, кирилло-белозерским монахом[94], различима приземляющая направленность повествования у редактора конца XV в. Вот, например, облака трижды упоминаются у Ефросина. Первое упоминание облаков: «Жаворонокъ птица, въ красныя дни утеха, взыди под синие облакы»[95]; а между тем в других списках «Задонщины» названы небеса, а не облака (536, 541, 551), то есть облаков не было первоначально? Однако в Кирилло-Белозерском списке очень начитанного Ефросина сохраняются уникальные чтения, близкие к «Слову о полку Игореве» и первоначальному виду «Задонщины»[96]; в том числе и упоминание синих облаков соотносится с фразой из плача Ярославны: «подъ облакы веяти, лелеючи корабли на сине море»[97]; еще соответствия с плачем Ярославны: «красныя дни» («Задонщина») – «сльнце... красно еси» («Слово», 55); «утеха» («Задонщина») – «веселие» («Слово», 54); «жаворонокъ» («Задонщина») – «зегзица» («Слово», 54). Значит, в первоначальном виде «Задонщины» присутствовали облака; а вот небеса не упоминаются вообще ни в «Слове о полку Игореве» (кроме одного раза в конце), ни в списке Ефросина. Но к чему прилагалось слово «синий» в первоначальном виде «Задонщины», остается неизвестным. Странное словосочетание «синие облакы», скорее всего, написал сам Ефросин, и какой-то смысл в этом был, раз он потом снова повторил это словосочетание.

Рассматриваемый первый отрывок с синими облаками посвящен началу сборов в поход, жаворонку предлагается: «...пои славу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его Володимеру Ондреевичю. Они бо взнялися какъ соколи со земли Русскыя на поля половецкия». В остальных списках здесь упоминается буря, которая сносит или заносит соколов из земли залесской в поле половецкое (536, 541, 551). У Ефросина же в результате переосмысления им первоначального текста все выглядит благополучно и даже приземленно: бури нет и в помине, соколов ничто не уносит, они самостоятельно снялись с места («взнялися») да и полетели себе, притом не в поле, а на поля – как бы кормиться. Да и какая буря, если упоминаются «красныя дни»? Так что синие облака у Ефросина тоже выступают признаком благополу-

чия, под ними поют славу князьям; тем более что в погожий день низ пухлых, кучевых облаков, действительно, синеватый.

Второе упоминание синих облаков в Кирилло-Белозерском списке: «Птици небесныя пасущеся то под синие оболока» (549). Птицы мирно пасутся у Ефросина! В других списках нет пасущихся птиц (537, 542, 552). Правда, продолжение фразы как будто указывает на тревожность обстановки: «...ворони граютъ, галици свои речи говорятъ, орли восклегчють, волци грозно воютъ...» Но, оказывается, напротив — эти животные стерегут Русскую землю: в том числе «лисици часто брешють» (как сторожевые собаки); в других списках лисицы зловеще брешут на костях или на кости (537, 541, 552; ср. также «Сказание о Мамаевом побоище», использовавшее «Задонщину»[98]); Ефросин к тому же успокоительно поясняет, чего хотят животные: «чають победу на поганыхъ, а ркучи так: "земля еси Русская... буди и нынеча за княземь великим Дмитриемь Ивановичемь"». Таких пояснений нет в других списках. Так что и тут необычные синие облака вписаны Ефросином в благополучную, притом приземленную картину, где и «солнце... светить» просто; в остальных же списках — не так обыденно: солнце сияет (537, 543, 553; то же в «Сказании о Мамаевом побоище»[99]).

Еще раз уже другие, тревожные облака упоминает Ефросин — идут татары, и «ис тучи выступи кровавыя оболока» (549); в прочих списках выступили или пролились кровавые зори (537, 542, 552). В этом отрывке у Ефросина многое получилось более предметным, реальным и приземленным. Облака вместо зорь. Ветер, пожалуй, более обыденный: «всташа силнии ветри» (в других списках ветры возвеяли). Непогода прописана более четко, предметно и протяженно: ветры «прилелеяша тучю велику», из тучи выступили кровавые облака, «а из нихъ пашють синие молньи», то есть из облаков извиваются молнии (в остальных списках нет изобразительной цепочки «туча — облака — молнии», но кучно: тучи, зори, а в зорях трепещут сильные, а не синие молнии. То же в «Сказании о Мамаевом побоище»[100]). Появилось и очередное материально-владельческое объяснение у Ефросина, отсутствующее в списках: поганые татары хотят «взяти всю землю Русскую». Яркость и приземленность деталей сочетаются в Ефросиновом изложении.

Другие темы «Задонщины» под пером Ефросина также приобрели оттенок некоторой приземленности. Больше всего Ефросин рассказывает о русских воинах, однако, тоже в основном приземленно переосмысливая свой протограф. Военачальники и воины кажутся более бравыми и основательными в списке Ефросина: у них не только «было мужество», но и «желание за землю Русьскую» (548; в других списках не упомянуто это несколько прозаическое «желание» – 541, 551); воины «под трубами поють» (549; в других списках нет такого неаристократического пения под трубами – 536, 542, 552); воинов призывают испытать «мечи свои булатныя» (549; в других списках вместо материального определения мечей – географическое: мечи литовские, 537, 543, 552); князь «приимая копие в правую руку» (549; в других списках князь более рыцарственно «взем меч» – 537, 542, 553; то же в «Сказании о Мамаевом побоище»[101]); у воинов «топори легкие» (549; столь приземленной детали нет больше нигде, кроме как у Ефросина – ср. другие списки, 539, 543, 547, 553; ср. «Сказание»[102]); «хоробрыи Пересвет поскакиваеть на своемь вещемь сивце, свистомь поля перегороди» (550; в других списках нет такой фольклорной предметности эпизода: Пересвет не имеет определения, поскакивает на коне и без свиста, а воины кликом огораживают поля – 538 и 539, 543, 544, 547, 554; ср. «Сказание»[103]); наконец, жены боярские плачут: «...мужеи нашихъ в животе нету, покладоша головы свои... з дивными удалци, с мужескими сыны» (550; больше нигде нет этих, пожалуй, фольклорно-бытовых дивных удальцов-мужеских сынов – ср. 539 и 540, 544, 546, 554; ср. «Сказание»[104]). Указанные поновления в Кирилло-Белозерском списке, правда, довольно разнородны и не всегда их можно толковать однозначно – ведь Ефросин без скрупулезной целенаправленности переделывал свой источник, но все-таки хозяйственно-приземленные мотивы он, кажется, предпочитал.

Завершается «Задонщина» у Ефросина в более сильных жалостно-трагических тонах: вообще «слава пониче» (550; во всех других списках поникло всего лишь «веселие» – 538, 544, 546, 554); и при этом протограф переработан в направлении приземленности персонажей, даже физической, – герои говорят о реальном, грубом падении на землю: «Лучши бы есмя сами на свои мечи *наверглися*, нежели намъ оть поганыхъ *положеным пасти*...

Уже твоеи главе *пасти* на сырую землю на белую ковылу... Уже... ворони... на трупы *падаючи*» (550; в других списках этот мотив падения отсутствует или почти не заметен — 539, 543, 554; нет и в «Сказании»[105]). Соответственно раны героев становятся тяжелее: «раны на сердци твоемь тяжки» (550; в других списках упоминаются раны на теле, великие или многие — 538, 543, 544. Тяжкие раны на сердце — не совсем бессмыслица; что-то позволило Ефросину так сказать; ср. в «Киевской летописи» под 1142 и 1147 гг.: «бысть... тяжко сердце Игореви и Святославу», «про то тяжко сердце имея»[106]). Далее Ефросин подчеркивает людские потери: «не одна мати чада изостала, и жены болярския мужеи своихъ и осподаревъ остали» (550; такого пояснения, нужно отметить, довольно прозаического по тону, больше нигде нет); не на что надеяться: «нелепо стару помолодитися» (550; в остальных списках, напротив, не резонно-пессимистично, а бодро: старому надобно, добре или лепо помолодеть — 538, 543, 554; то же и в «Сказании»[107]). Плачи у Ефросина сильнее: «восплакашася *горко* жены болярини» (550; в других списках просто плачут — 538, 544, 546, 554); еще добавлены горестные и тревожащие звуки: «взопиша избиении» (550; нет в других списках такого обыденного упоминания); «води возпиша, весть подаваша» (549; в других списках нет страшного вопля вод — 538, 543, 553; нет и в «Сказании»[108]); «зогзици кокуютъ» (550; нет больше нигде этой вроде бы лиричной, но все же приземленной детали). И обращения к персонажам, ласково-грустные, фольклорно-бытовые в списке Ефросина, нигде больше не встречающиеся: «Братьеца моя милая» (549), «сестрици наши» (550). И последнее — суровость чужой земли у Дона, возможно, показал Ефросин и тоже приземленно: Дон — быстрый, то есть не легкий для переправы (пять раз подряд повторил Ефросин это определение, в том числе: «поидемь за быструю реку Донъ» — 549; в других списках не очень понятно: «поедем тамо» или «поидем тамо» — 536, 542, 551); берега у Дона — харалужные, то есть жесткие («прошелъ еси землю Половецкую, пробилъ еси березн харалужныя» — 550; в других списках нет речи о берегах, Дон сквозь каменные горы течет в землю Половецкую — 538, 544, 546, 554. И опять какое-то фразеологическое припоминание навело Ефросина на выражение о харалужных, твердых берегах. Ср. в «Киевской летописи» же под

1180 г.: «бе бо река твердо текущи, бережиста», «идоша во твердая места и стояша... обаполъ Дрьюти»[109]); далее у Ефросина за Доном – сырая земля и «белая ковыла», то есть печальная область (550; в других списках упомянута только «ковыла», притом зеленая – 538, 543, 554; ср. «Сказание»[110]).

Итак, можно убедиться в том, что вольные и невольные изменения в списках 1480-х гг. двух ранних памятников – «Слова о погибели Русской земли» и «Задонщины» – оказались в некоторой степени сходными, вносящими предметность, обыденность, приземленность в повествование сравнительно с первоначальным высоким пафосом этих произведений.

Пожалуй, есть основания предположить, что именно у северных редакторов второй половины XV в. нужно в первую очередь искать сокращения или переделки старых памятников, вводящие приземленные мотивы в исходный текст. Вот, к примеру, в «Псковской второй летописи» 1486 г. кратчайшим образом и со вкраплением совершенно безыскусных выражений пересказывается «Новгородская первая летопись», ее изложение начальной части «Повести временных лет», но теперь еще больше упрощенное: «А начало Рускыя земли бысть сице» – «три браты... поставиша град на горе... и начяша владети»; поляне «много тщание имуще къ идолом»; племена изгнали варягов и начали «городы ставити, и бысть межю ими рать, град на град»; тогда пошли к варягам «и просиша в них князеи»; «3 (три) князи, брата себе... приведоша к Новугороду»; два брата умерли, «не сътворше семени, а Рюрикъ на Новегороде оживе и роди сына Игоря»; «а от тех даже и доныне великии князи влекутся... и от княгыни Олгы псковскы расплодишася» и т. д.[111] – почти что бытовой рассказ.

В эту группу приземленных и хозяйственных переделок входили и нелитературные, вовсе не старые сочинения, вроде большого рассказа «О поездке великого князя въ Великий Новъгородъ», первоначально полного в «Софийской второй летописи», но затем превращенного в «Софийской первой летописи» только в описание подарков, которые Иван III получил от новгородцев в 1476 и 1478 гг., – остальной материал был выброшен, зато сделаны заботливые уточнения по поводу подаренных вещей. Это видно даже на мелких примерах. Ср. «Софийскую вторую летопись» под 1476 г.: «декабря 15 пиръ у Казимера: даровъ – ковшъ

золотъ 2 гривенки, 100 корабленикъ, 2 кречета»[112]. В «Софийской первой летописи» же, в списке конца XV в., более гладко и уточненно повествуется об этих подарках: «того же месяца въ день пировалъ князь великий у посадника у Казимера: даровъ отъ него великому князю ковшъ золотъ весомъ 2 гривенки злата, до 100 золотыхъ корабленыхъ, да 2 кречета»[113].

Литературное творчество второй половины XV в. с его эстетизацией хозяйства уже далеко и невозвратимо ушло от благородной архаики XI–XII вв.

## 6. Упоминания чувств во «Псковской второй летописи»

Скажем об одной из поздних летописей, отличающейся от предыдущих летописных памятников своеобразной манерой повествования, – о «Псковской второй летописи», составленной в 1486 г., дошедшей до нас в единственном списке конца XV в. и большей частью рассказывавшей о военных стычках псковичей с соседями. Псковский летописец XV в. или даже XIV–XV вв. (так собирательно обозначим поколения неизвестных нам, но стилистически родственных составителей «Псковской второй летописи» и их предшественников) довольно однообразно писал о немцах, поляках, литовцах, да и о русских тоже. Все они как бы на одно лицо. Однако однообразие скрашивалось сравнительно новым лейтмотивом в летописном повествовании: летописец явственно чаще, чем обычно в летописях, упоминал чувства и настроения персонажей – то подчеркивал их злобу («тогда поганыи, *възъярився* и попухневъ лицем, прииде... съкрежеща своими многоядьными зубы...» – 60, под 1480 г.[114]); то описывал горе людей («и бысть *плач*, и *рыдание*, и *вопль* великъ» – 26, под 1343 г.); то нагнетал страх («и бысть чюдо *страшно*: внезапу наиде туча *страшна* и *грозна*, и дождь силенъ, и гром *страшен*, и млъниа бес престани блистая, яко мнети уже всем от дождя потопленымъ быти, али от грому камением побиенымъ быти, или от млъниа сожьженым» – 41, под 1426 г.).

Чаще всех упоминались отрицательные чувства, и больше всего событий летописец сопроводил гневом персонажей. Крупные нападения предпринимались во гневе или ярости: «и онъ грьдыи

князь Витовтъ... *възъяривея*, прииде к Вороначю...» (40, под 1426 г.); «князь великии Иванъ Васильевич *разгневася* на Великии Новъгород... прииде под Великии Новъгород...» (57, под 1477 г.) и др. Князья у летописца вообще постоянно гневались: «пъсковичи отрекошяся князю Андрею Олгердовичю... и про то *разгневася* велми на пскович» (26, под 1349 г.); «и псковичи... того не восхотеша... и Витовти оттоле начя *гневъ* великъ дръжати на пскович» (38, под 1421 г.). Общаться с гневливыми князьями было тяжко: «и биша чолом, абы вины отдал и *гнева* на Псковъ не дръжалъ; он же съ *яростию, гнева* наполнився, ответъ даде...» (40, под 1424 г.); «не пусти их к собе на очи 3 дни, *гневъ* держа...» (52, под 1463 г.); «князь великии, *яромъ* окомъ възревъ, рече» (69, под 1486 г.); «с великою *опалкою* отвещал» (66, под 1485 г.) и пр. Власти покидали Псков неизменно во гневе: «И князь Александръ... *разгневався* на пскович и поеха к Новугороду» (24, под 1341 г.); «князь Андреи и Борисъ... скоро *разгневавшеся*, поехаша из града...» (61, под 1480 г.); «архиепископъ новгородьскыи Еуфимии... *разгневався*, поеха изо Пскова» (45, под 1435 г.) и т. д. Упоминания гнева, как видим, были однообразны.

Другое чувство персонажей, которое считал нужным часто и тоже однообразно упоминать летописец, — горе от нападений и разорений: «и бе видети многымъ *плач* и *рыдание*» (60, под 1480 г.); «от многаго недостатка и стеснениа многу *скорбъ* имеаху, *плач* и *рыдание*» (57, под 1477 г.); «и бысть... *скорбъ* и *печаль*» (25, под 1341 г.); «и бяху тогда псковичи в велице *скорби* и *печали*» (60, под 1480 г.). Просьбы страдающих тоже сопровождались горестными эмоциями: «А в то время *притужно* бяше велми изборяном, и прислаша гонець въ Псковъ съ многою *тугою* и *печалью*» (25, под 1341 г.); «и беху псковичи въ мнозе *сетовании* и в *тузе*» (61, под 1480 г.) и т. п.

Еще одно чувство, обязательно отмечаемое летописцем у персонажей, — страх, обычно при бегстве, обычно у врагов: «поганымъ вложи *страх* въ сердца их и обрати я на бегъ» (25, под 1341 г.); «*убоявся* князя великого и побеже в Литву» (51, под 1460 г.); «немци *убоявшеся* и побегоша» (53, под 1463 г.). Страх парализует действия: «И, видевше, немци *устрашишася*, а псковичи, видевше немець, *убояшася*, и не съступишяся на бои» (59, под 1480 г.); «не домышляющеся о семь, что сътворити, *боящеся* кня-

зя великого» (61, под 1480 г.) и пр. Стихийные явления, как уже можно было убедиться, летописец также сопровождал указаниями на страх, вот еще пример: «бысть туча темна и *грозна*... и гром *страшен*... и от блистания млъния исполнися церковь пламени, и черньцы вси падоша ниць от *сътраха* пламени того» (43, под 1432 г.). Упоминания страха тоже однообразны.

Однако летописец нередко варьировал обозначения чувств и эмоциональных состояний, почти всегда отрицательных у персонажей: «*немилостиво* имеа сердце» (42, под 1426 г.); «*зли* быша на ны» (24, под 1341 г.); «вложи бо диаволъ въ сердца их... на пскович велику *ненавистъ* дръжаху» (33, под. 1407 г.). Или: «прислаша своего посла... не с поклономъ, ни с чолобитьем, ни с молением, но з *гордынею*» (55, под 1471 г.); «И тако, *гордяся*, поиде к городу Пскову» (59, под 1480 г.). Бегство сопровождалось не только страхом, но и стыдом: «отбегоша немци съ многым *студом* и *срамомъ*» (23, под 1323 г.); бывал еще повод для стыда: «князь великии изополелся на Ярослава, и он вся грабленая и людеи со многымь *студомъ* възврати» (56, под 1477 г.). Только в очень редких случаях летописец вспоминал о положительных чувствах персонажей: «посадники възвратишася с великою радостию» (68, под 1486 г.); «князь же Ольгердъ съжаливъси и не остави мольбы и чолобитиа псковскаго» (24, под 1341 г.); «бысть знамение... от иконы святого Николы... и множество народа удивишася о преславномъ чюдеси» (46, под 1440 г.).

Склонность летописца к упоминаниям чувств у персонажей проявилась и при использовании им источников. «Псковская вторая летопись» была начата с пересказа отрывков из «Повести временных лет», и когда псковский летописец дошел до отказа Рогнеды стать женой Владимира Святославича, то вставил указание на чувство: «Володимиръ же, *възъяривcя,* иде ратью к Полтеску и уби Рогволода и два сына его, а дщерь его Рогнеду поя собе жене» (10, под 980 г.); в «Повести временных лет» же чувства Владимира никак не упоминались в этом эпизоде: «Володимеръ же, собра вои многи... поиде на Рогъволода... и уби Рогъволода и сына его два, и дъчерь его поя жене»[115]; о ярости Владимира в «Повести временных лет» вообще не говорилось ни по каким поводам. После «Повести временных лет» псковский летописец поместил целиком «Житие Александра Невского» пер-

вой редакции и потом снова пересказал один из его эпизодов, но уже добавив указание на чувство, отсутствующее в «Житии»: «Князь Александръ... клятвою извеща псковичемь, глаголя: “Аще кто и напоследи моих племенникъ прибежить кто *в печали* или так приедет к вамь пожити, а не примете, ни почьстете его акы князя, то будете окаанни и наречетася вторая жидова...”» (21, под 1242 г.); о приезжающих в печали не говорилось ни во внелетописном «Житии Александра Невского», ни в его полном тексте, вставленном во «Псковскую вторую летопись»: «И рече Александръ: “О невегласи псковичи, аще сего забудете и до правнучать Александровых, и уподобитеся жидом...”» (14). После «Жития Александра Невского» в летописи следовала «Повесть о Довмонте», в последнюю фразу которой летописец снова добавил упоминание о печали: «Бысть же *пѐчаль* и жалость велика тогда псковичемъ» (18); эта печаль отсутствовала в ранней редакции «Повести о Довмонте»: «бысть же тогда жалость велика во граде Пскове...»[116] Еще раз была добавлена печаль в «Сказание о битве новгородцев с суздальцами», тоже вставленное во «Псковскую вторую летопись», но с такой концовкой: «...Христе Боже нашь, и нас избави от всякыя *печали*, и беды, и напасти» (21, под 1169 г.); в первой редакции «Сказания» концовка иная: «Богу же нашему»[117]. В общем, псковский летописец, то менее, то более редактируя тексты, добавлял при этом однообразные упоминания о ярости или печали.

Летописец однажды высказался так: «А еще и иного много бых писалъ бывшиа в тое розратие *печали* и *скорби*, но за умножение словес и не писано оставимъ» (25, под 1341 г.). Но это значит, что особого пристрастия или культа чувств у летописца не было. И действительно, он не упражнялся в разнообразии чувств, очень кратко, однотипно и вовсе не повсеместно отмечал их, притом упоминания чувств не всегда обозначали только непосредственное чувство, чаще – общую ситуацию. Например, «печали и скорби» обозначали несчастья вообще, в том числе материальные; «разгневася» означало и политическое отношение и т. д.

Чувства, в основном отрицательные, летописец упоминал для того, чтобы придать напряженность своему повествованию об опасностях и несчастьях, – вот главная его литературная цель.

Поэтому перечисления чувств у него содержали вдобавок и преувеличения, обычно в виде сравнений и метафор; например: «Многу скорбъ имеаху, плач и рыдание. И въсколебашася, *аки пьяни*» (57, под 1477 г.). Перечисления чувств нередко включали в себя и иные усилительные элементы, летописец пользовался выразительными деталями: «А Немецкая вся земля тогда бяше не въ опасе, без страха и без боязни погании живяху, *пива мнози варяху*» (62, под 1480 г.); прибегал к словесным повторам: «*немилостивно* камениемь побиша... и тако *немилостивну* и лютую подъяша смерть» (59, под 1480 г.). Даже одиночные упоминания чувств сочетались с преувеличивающими определениями и сравнениями: «наиде туча дождевая страшна зело, и падаше з дождем камение, *акы яблока*, а иное — *аки яица*» (38, под 1421 г.).

Перечисления чувств и упоминания единичных чувств служили лишь одним из способов придания напряженности рассказам летописца. Тому же способствовали перечисления и вовсе не чувств, тоже с преувеличениями-сравнениями: «и наплънишася источници, и рекы, и езера, *акы весне*» (31, под 1405 г.); «привезоша множество ратного запаса, и хлебовъ, и пива, и вологи, *акы на пиръ зовоми*» (60, под 1480 г.) и др. Или же с усиливающими обобщениями: «много же бед в та лета претрьпеша болезньми, и мором, и ратми, и *всех* настоящих золъ...» (28, под 1370 г.); «и поидоша ко Пскову новгородци, корела, чюдь, вожани, и тферичи, и москвичи, и просто рещи, съ *всеи* Рускои земли» (39, под 1422 г.). Втянут был и счет в эмоциональное повествование: «Бысть моръ въ Пскове, яко же не бывалъ таковъ: где бо единому выкопали, ту и пятеро, и десятеро положиша» (29, под 1390 г.); «бысть чюдо преславно: явися на небеси 3 месяца» (65, под 1485 г.); «и в третии ряд стала река, и сварачало лед криньемь великым, акы хоромы» (58, под 1478 г.); «а от скоту не оставиша ни куряти» (62, под 1480 г.); «множество людии, их же не мощно исчести» (59, под 1480 г.); иногда получалось что-то вроде рифмы: «воеваша... 5 днеи и 5 нощеи, не слазяще с конеи» (25, под 1343 г.). Напряжение вносили и постоянные упоминания об экспрессивных откликах городских властей и горожан на события: «млъва многа в людех» (23, под 1330 г.); «думавше много» (24, под 1341 г.); «много томишася, биюще чоломъ» (25, под 1341 г.); «весь Псков выдоша съ кресты» (37, под 1420 г.); «непословича и мно-

гыя брани» (57, под 1477 г.); «не вемы, чего деля... не вемы, о чемъ» (62–63, под 1482 и 1483 гг.) и т. д. и т. п.

Все это, казалось бы, можно объяснить псковской летописной традицией. Экспрессивность, даже броскость повествовательной манеры «Псковской второй летописи» (или свода 1486 г.) точно отразила первоначальную экспрессивность, свойственную общему протографу псковских летописей и соответственно «Псковской первой летописи» (свода 1481 г.); недаром у обеих летописей много дословно сходных текстов[118]. Но сравнительно со «Псковской первой летописью» «Псковская вторая летопись», пожалуй, усилила экспрессию: в ней последовательно сокращались тексты протографа[119], но зато последовательно же вставлялись новые, в том числе более яркие упоминания чувств, как правило, отрицательных.

Чаще добавлялись упоминания злобы персонажей. Так, во «Псковской первой летописи» говорилось: «братия наша новгородци нас повергли, не помагають намъ» (18, под 1341 г.[120]); «Псковская вторая летопись» добавляла: «братия наша новгородцы не помогають намъ, и *зли* быша на ны» (24). Часто добавлялся гнев. В первой летописи: «князь великии не пустилъ нас к себе на очи три дни» (63, под 1463 г.); а вторая летопись разъясняла: «не пусти их к собе на очи, *гневъ держа...*» (52). Во второй летописи добавлялись целые эпизоды с гневом, вроде такого как «Витовти оттоле нача *гневъ великъ* дръжати на пскович» (38, под 1421 г.). В первой летописи нет этого эпизода (ср. 34). То же было с различными иными проявлениями ярости и ненависти — они упоминались во второй летописи, но отсутствовали в первой. Например, во «Псковской первой летописи» новгородцы «псковичемъ не помагаше ни словомъ, ни деломъ» (30, под 1407 г.); а во «Псковской второй летописи» новгородцы уже «на пскович *велику ненавистъ* дръжаху» (33). Или в первой летописи «местер с немцы» просто пошел на Псков (77, под 1480 г.); но во второй летописи «*гордяся* поиде... хупущеся и *скрежещюще зубы*» (59) и т. п.

Старательней и чаще подчеркивалась горестность событий во «Псковской второй летописи». Так, если в первой летописи сообщалось, что «псковичи много биша челомъ великому князю Василию, дабы имъ помогъ» (29, под 1407 г.), то вторая летопись добавила: «...абы помоглъ *беднымъ* псковичемъ в *тошна* времени»

(32). Иногда добавлялась фраза «биша чолом *со слезами*» (34, под 1408 г.; ср. первую летопись, 31).

Иногда добавлялись указания на страх, обычно во вставных эпизодах, отсутствующих во «Псковской первой летописи». Например, под 1425 г. обе летописи сообщали о том, что «бысть моръ во Пскове» (ср. 35 и 40), но вторая летопись продолжала: «А князь Федоса Патрикиевич того мору *убоявся,* поеха изо Пскова...».

Однако в единичных случаях «Псковская вторая летопись», напротив, смягчала упоминания о печали и страхе, представленные в «Псковской первой летописи». К примеру, первая летопись под 1352 г. подробно описывала мор во Пскове и говорила об отчаянии: «Тогда бяше многъ плач зело и лютое кричание съ горкым рыданием... Кто бо тогда каменосердъ человекъ и без слез быти...» (22). Во второй же летописи летописец ограничился только ссылкой на источник об этом море: «О семъ пространне обрящеши написано в Рускомъ летописци» (27). Некоторые характеристики страха также были сокращены во «Псковской второй летописи». Так, под 1433 г. в первой летописи говорилось: «бысть страх и ужас на всех людех» (41); а во второй — «бысть страх на всех» (44). Причина всего этого — механическая: упоминания чувств исчезали чаще всего из-за сокращения или опущения эпизодов во «Псковской второй летописи», а в целом же в ней благодаря вставкам была усилена экспрессивность повествования.

Сравнительно со «Псковской первой летописью» летописец если не вставлял, то обычно делал выразительнее упоминания чувств и состояний, делая напряженней свое изложение. Например, под 1343 г. во «Псковской первой летописи» сообщалось, что при ложном известии о поражении псковичей от немцев «бысть въ Пскове плачь великъ и кричание» (12). Во «Псковской второй летописи» же была усилена активность самого плача: «и бысть плач, и *рыдание,* и *вопль великъ*» (26). Иногда летописец делал чувства и состояния более масштабными. Вот, по рассказу первой летописи, псковичи уклонились от стычки с немцами, и «тогда бяхуть псковичи в сетовании мнозе и в печали» (31, под 1407 г.). Во второй же летописи эта заключительная фраза эпизода превратилась в обзор отчаянного положения Пскова: «И

бысть псковичемь тогда многыя скорби и беды ово от литвы, а иное от немець, и от свои братья – от Новагорода, ово смерти належащи» (34).

Благодаря добавлениям во «Псковской второй летописи» появились обозначения физического напора на объекты. Например: «бысть буря велика, и сшибе кресть с церкви святыя Троици, и разбися весь» (31, под 1401 г.) или: «бе тогда мразы силно велици, а снегъ человеку в пазуху, аще у кого конь свернет з дорозе, ино двое али трое одва выволокут» (62, под 1480 г.). Этих, как и целого ряда подобных сообщений, нет во «Псковской первой летописи». Мотив сдавления тоже явственней выражался во «Псковской второй летописи»: «начаша прилежнее к городу лести» (41, под 1426 г.), а во «Псковской первой летописи» нет (ср. 36); «окова *твердо* железы» (45, под 1435 г.), а во «Псковской первой летописи» без эпитета: «окова его железы» (43) и пр.

Летописец усиливал и действия персонажей для большей напряженности своих вариантов рассказов, меняя синтаксическую структуру фраз и их смысл. Так, во «Псковской первой летописи» говорилось о крестном ходе около одной церкви, где «попове моляхуся за град и за люди, живущая в немъ, с кресты ходяше, моляхуся Богу» (41, под 1433 г.). А во «Псковской второй летописи» уже хождение с крестами распространялось на весь град: «священници начаша, *по граду* съ кресты ходяще, Богу молитися» (43). Или в первой летописи говорилось о новгородцах, что «не быша имъ Божия пособия» (53, под 1456 г.); во второй же летописи сообщалось гораздо энергичнее: «Новгородци же видевше *непособие* свое» (49). Во «Псковской второй летописи» добавлялись усилительные эпитеты и метафоры, например: «положиша въ святеи Троици *честно и великолепно*» (26, под 1349 г.); в первой же летописи без прикрас: «положиша и во святеи Троици» (20). Так же без прикрас в первой летописи: «почаше пушками бити» (77, под 1480 г.); но с изыском во второй летописи: «начаша огненыа стрелы на град пущати» (58). Из слова вырастали целые фразы, – если в первой летописи: «немцы прочь побегоша во свою землю» (76), то во второй летописи: «И никым же гоними, разве Божиею силою съвыше, въскоре от града побегоша не своими дорогами, многая своя вещи пометавше, и тако разблудишася по лесомъ» (58).

Стремление к большей напряженности и экспрессивности повествования, пожалуй, объясняется особенностью настроения псковского летописца: во второй половине 1480-х гг. появилось у летописца тревожное ощущение недостаточной политической значительности сообщаемых псковских событий. Возможно, поэтому во «Псковской второй летописи» были проделаны многочисленные сокращения уже излишне фактичного протографа[121]: опущены или сокращены упоминания о совсем уж мелких псковских происшествиях; обобщены подробности местных церемоний, переговоров, речей, молитв; убраны замечания об исключительности каких-либо случаев для истории только Пскова; кроме того, летописец постарался не слишком переводить внимание на ближайших врагов и соседей Пскова и сократил некоторые относящиеся к ним эпитеты и эпизоды. Зато летописец ввел отсылки на «Русский летописец» и на далекие международные события – в земле Волынской, – хотя и не мог сказать, какое значение они имеют для Пскова, но опасался: «не вемы, что срящеть ны по сих» (65, под 1485 г.).

Боялся же летописец того, «какъ бы еще нашему граду до конца не погыбнуть» (61, под 1480 г.), и надеялся: «да не погыбнете зле до конца» (63–64, под 1684 г.). Таких высказываний нет во «Псковской первой летописи». «Псковская вторая летопись» отразила творчество летописца, жившего «в опасе» перед грядущим «Псковским взятием» 1510 г. – присоединением Пскова к Московскому государству.

«Псковская вторая летопись» развила демонстративно в экспрессивном направлении сложившиеся в XV в. повествовательные традиции.

## 7. Пессимистическое умонастроение составителей «Хронографа 1512 г.»

Крупнейшим древнерусским литературно-историческим памятником является «Хронограф 1512 г.», созданный, как установил Б. М. Клосс, в 1516–1522 гг.[122], отличающийся от предшествующих переводных хронографов и в определенной мере получившийся цельным произведением, однотипным эмоционально и с единой главной идеей, которая ясно выражена в характеристи-

ках различных стран, или «царств», и в большой массе повторяющихся мотивов.

Прежде всего рассмотрим, какова в изложении «Хронографа» «Римъская страна и живущии в ней латыни»[123]. Античного, «ветъхаго и престараго Рима» (325) касается значительный комплекс рассказов в «Хронографе» (в основном на с. 224–267), и рассказы эти неизменно подводят к отрицательной оценке Рима, несмотря на, казалось бы, пестроту их сюжетов.

Уже с описания происхождения Рима ощутим этот неблагоприятный оттенок в повествовании, ибо не очень приятные животные стоят у римских истоков: рассказчик называет «вола заблудивша», «свинию чревату», «юньца тверда», участвуют также «лисица же некаа лукава», «волчица... отягчена имущи сосца млечнымъ множествомъ» и пр. (225–227). Далее отрицательный тон преобладает в бесконечной череде рассказов и однообразных повествовательных мотивов о римских правителях. Незаконных правителей немало из них: «ничим же ему прилежаще приимъ царство» (227); «родися отъ рабы» (227); «его же воиньство избра и венчаша царемъ» (245); «суща отъ прелюбодеяниа возложи венець на нь» (258). В итоге, совсем гнусны почти что все римские правители: «сей яръ бе и гневливъ, въскоре изрицая осужение, потомь же в раскаание прихожаше и кротость» (230); «сей бе сверепъ, и величавъ, и скверножителенъ, и убийственъ, и всеми образы золъ» (240); «бе бо желая имениа, и закланиа, и крови, и раздробляа человеки на уды, и сосецая немилостиво, и по всему блуденъ с женами и съ мужи» (254); «со игреци бо веселяся выну, и позоричными зрении, и с женами злодетелными и мужьми пианьчивыми, и мечь имяше готовъ заклати силныя и добре живущая» (255) и т. д. и т. п. Зависть господствует в Риме: «Оле зависти! Что твориши, лютый зверю, не щадяй всякого!» (229); «о зависти, зверю лютый, разбойниче, гонителю, скорпие многожалная, тигру человекоснедный, былка смертная! О, доколе, злодею, житие смущаеши?» (297).

Усугубляют отрицательную характеристику Рима многочисленные описания кровопролитий, несчастий, смертей. Пророчество о «заклании и пролитии многихъ кровей» (227) было высказано еще в начале римской истории и постоянно подтверждалось. Кровопролитные обширные сражения следовали, как

стихийные бедствия: «и множествомъ обоихъ вой покры море... яко воде морьстей с кровию смеситися и волнамъ кровавымъ являтися» (229); «кровию наполни... поля и варъварьскими мертвеци землю покры» (296); «поля... сотвори телесы избиеныхъ настьлана» (254); «лодиями постлавъ всю текущую реку... и с вои своими погрязну... и исполнися река всадники со оружиемъ и коньми» (269) и пр. Катаклизмы периодически происходили – не только «гладъ великъ», но и извержения: «горы... верхъ разседеся, и огнь велий изыде, яко попалити прилежащаа страны и грады... изыде огнь... отъ геоны» (254); а то и мор: «ветромъ нужнымъ износимо дыхание смрадно, яко гной мертвыхъ телесъ. От сего тяжкиа и неисцелныя болезни, рыдание же, и воздыхание, и погибель человекомъ. И не бысть храма, иде же не бе мертвець смердящь, зане же не мощно ихъ погребати» (259). Непрерывные и тяжкие гонения на христиан, с мучениями и убийствами, также усиливали картину римского неблагополучия, но особенно зловещими были почти обязательные насильственные смерти самих римских правителей – неисчерпаемо разнообразные убийства их: «закланъ убо бысть окаянне» (229); «кровь точа ноздряма своима, зело изнемогъ, и, еще дышющу ему, во гробъ вложи его братъ его» (253); «в ровъ земный и пропасть окаанне низриновенъ» (254); «отравленъ умре» (255); «утопе въ блате» (259); «одравше кожю его» (260); «мечемъ выа того отсечется» (297); а то «самъ себе умори... исшедъ кровию» (260) и мн. др.; страшные смертельные болезни постигали царствовавших в Риме: «бысть червьми изъяденъ» (240); «его языку изгнившу и червемъ кипящимъ» (262); «ото утробы убо его и отъ мозговъ яко пламень лютъ возгореся... очи ему изскочиста и плоть его согни и... отъ костей отпаде, червеми повсюду кипящимъ» (267) и пр. Плохой конец неизбежен, потому что тот или иной царь «месть Божию приятъ» (240), «кончину обрете достойну живота своего» (255), «блудства ради и нечистыхъ деяний убиенъ бысть» (258), «достойную казнь приатъ своего злочестиа» (261) и т. п. В общем, Рим – плохой: «Оле терпению ти, Христе!.. кое зло не бысть тогда?» (260).

Правда, отдельные римские правители изредка оказываются хорошими в хронографических рассказах: «добродетельный и кротъкый мужь и даролюбивый – раздоваяй имениа и власти, достоинъ по достоиньству и господству» (253); «благъ мужь и

милостивъ и огражень многими даръми» (254); «мужь воиничень и победоносень, терпеливъ и храбръ, в судехъ праведенъ н неуклоненъ, мерило правде» (254); «сей въ книгахъ веселящеся еллиньскихъ, и всехъ премудрыхъ любляше, и многими дарми часто почиташе ихъ... и всю землю исполняше нескудными дарми, всемъ же бе любимъ» (255) и пр. Один-два из них даже доживают до старости и своею смертью умирают (240, 253). И все же преобладающей мрачной картины это не меняет: как ни хорош был царь, «но и сей убо изчезе отъ жития» (254), «но провосхити недугъ смертный... царствовавъ точию 3 лета» (353) или был убит опять-таки; и при благих правителях разражались катастрофы и кровопролития, ставили языческие кумиры, казнили христиан; «собравьше вся книги, хотяху сожещи» (260) и т. д. Короче говоря, языческий Рим не мог быть хорошим. Даже когда Константин Великий принял христианство и ушел из Рима, основав Константинополь, то в Риме все продолжали править плохие цари, и затем «Римъ дръжавы царьскиа до конца лишися» (285), «престарый Римъ к Фругомъ приложися» (317).

Далее в «Хронографе» совсем немного говорится о Риме, но резко отрицательно опять: «многы ереси», «злое учение еретическое» развратили римлян, «и тако латыни все удобно приаша злое учение», «и врази быша православнымъ христианомъ», и стали «всяко скверно ясти и со псы изъ единехъ сосудъ» (325—326) — с животных началась и животными закончилась связная римская история в «Хронографе». Потом тлетворное влияние Рима в основном и упоминается: «латыне... пришедше из Рима... угри къ своей прелести приложиша, тако же и ближняа ихъ языки, и уны, и пиды, и немьци, и поляне и ины, прилежащаа к Риму, приложиша к своей прельсти, и Вретанийский островъ... и того приложиша къ своей прельсти» (368).

Для общей повествовательной схемы «Хронографа» типично то, что православная Византия в нем представлена не в лучшем свете, чем языческий и католический Рим. Хорош только первый христианский царь — Константин Великий, а последующие византийские цари большей частью плохие, даже окаянные. Приведем только некоторые характеристики — они, в сущности, однообразны: один царь «бяше бо нравы убийца, сладостолюбивъ, свирепообразенъ, пианица, скорогневливъ, кровопийца»

(302); другой – «мръский... скипетры приемлеть царствиа... змий, другый Валтосаръ бестудный и ненавистный кровопийца волкъ... человек чародейца, отравникъ... въ кале валяющееся свиня, чревный рабъ» (318); другой царь – «сей бе злонравенъ и человекоубийца, рабъ злату, златолюбець, лютъ, худословъ» (327); следующий – «в пищахъ и питиахъ упражняяся и ничто же достойно власти ни рекъ, ни сотвори» (355); другой царь – «въ пищахъ упражняшеся присно и плотьскыхъ трапезахъ и о женахъ радовашеся присно безстудныхъ и игреливыхъ... седъ и престаръ» (370) и т. д. и т. п. Немало царей, если не большинство, еретики: «прельщенъ, приатъ ересь» (306); «корение храня лукавое изначала злочестивыа ереси учащихъ» (309); «всеми восточными церквами возмете» (315); «лукавый злодей... изрыгаеть ядъ злыя ереси» (316); «наскочи на власть, мясоядецъ лютый Христовыхъ овець... бысть сей иконоборець» (331); «злотворнымъ зловериемъ недуговаше» (336) и пр. Цари постоянно сравниваются со свирепыми хищниками, а временами с глупыми животными: «кесарьскымъ венцемъ скотьнаго украшаеть, точьнаго свинии умомъ» (371).

Больших безусловно положительных характеристик византийским царям в «Хронографе» фактически нет. Хороший царь все равно становится плохим: «иже изначала являешся благочестивъ, по мале же изверже злый ядъ, бе бо имый сокровена въ сердци злая семена... ереси окаяннаго» (290); «ревнитель сый благоверию... аще последи прельщенъ бывъ некими скверными и приалъ злую веру» (297); «по укреплении благочестиа... примесивъшимся ему лукавымъ лестьчемъ и снедающимъ сердце его блазнъми... царь же бе на всяко зло готовъ» (323); «дондеже бе еще... младъ... вся творяше добре, правяше красне корабль многобременный скипетродержаниа. Егда же достиже... до юнотьства, явися сластожителенъ, яко другий Неронъ, пианица, страстодушенъ, блудникъ, все издаваа имениамъ множество соигрецемъ своимъ... свиньскы живый... на горшее житие преспеваа день дне» (342). У хорошего царя всегда есть порок: «позавиде убо доброненавистникъ сатана добродетели и благочестию великаго царя... вверже его в сурово и безъчеловечьно кровопролитие» (281); «сей убо... въ другихъ убо благоразуменъ, радостенъ, великодаровитецъ, въ книгахъ присно упражняяся, имяше же некий

золъ плевелъ, еже есть се: аще убо кто приносяще ему хартию, еже знаменати ю, он же, не смотривъ, что есть писано в ней, черъвлеными шарьми сию назнаменаваше, и отъ сего людемъ многа беда» (287); «кротокъ, сладокъ, веселъ, окорадостенъ... яко аще не бы скверною убийства осквернился» (363); примеры можно умножить. Редко когда у плохого или никчемного царя мелькнет и что-то полезное: «золъ бе и богоборець, въ царьскыхъ же вещехъ пребывая правъ и бодро строя таковая» (334); «при немъ же греческое военачалие оскудеваше, яко при старцей немощи, во иныхъ же добронравенъ и изященъ бе» (375).

Картину глубокого неблагополучия Византии, как и Рима, усиливают описания почти всегда насильственных смертей ее правителей, и хороших, и плохих – все равно. Бывает, сообщается кратко, что убили царя, «изверже скверную душю» (276), «сгоре окаянный» (278), «пожать бысть Божиимъ судомъ» (315), однако обычно «убиваютъ его немилостивно» (362): «руце и нозе ему усекнути, потом же отъ раму ремение кроити, таже удъ срамный отрезати... потомъ и главу его отсещи и тело его, влекше на волуи торгу, огню предати» (303); или: «удари мечемъ царя, обе руце ему отсекъ... мечь водрузи въ сердце... и чрево его разреза... и видеша внутреняа его, излиана на землю» (350); или совсем непочтенно убивают: «мывшуся ему теплыми водами, единъ отъ престоящихъ ему удари его кадию во главу, и тако умре» (310); «царю плоть упокоевающу банею и утешающу, мужие неции... нападше и удавивше его, яко змиа обвившеся о выи его» (371). Ужасные болезни также умерщвляют царей: «умре... зане же чрево ему оходомъ не исхожаше» (289); «лице убо его оскверняшеся скверною воденаго прохода... егда убо хотяше воду ниспустити, тску пологаше на чрево, зане же вода не исхожаше, и отъ сего обращашеся ему срамьный удъ и воду на лице его испущаше. И протягшися болезни зело нужно, в ней же и умре» (306) или так: «нападе скорое разрушение... чревнымъ недугомъ ятъ бывъ... и бе видети страшно, яко уста его разверзошася и челюсти расторгьнушася, яко и внутреняа видети... и помалу исчезаеть отъ житиа» (340) и пр. Редко кто из царей умирает своею смертью, и то – в темнице, в монастыре или в ссылке (например, «насладився власти не надолго... по мале увяну лютыми недуги... одевся в ризы чернозрачныа... и добродетелною кончиною житие сконь-

чаваеть» — 376); иногда — внезапно и безвременно («по мале же скончася преже времен и преже часа, ни старости прикоснуся, ни же видевъ класъ возраста своего зрелъ и требующь серпа» — 300); только в одном-двух случаях сравнительно благополучно завершается царствование византийского правителя из длиннейшей череды цесарей («самъ преиде отъ житиа, добре царство правивъ» — 283).

Тревожный мотив в повествовании усиливают постоянные сообщения о стихийных несчастьях: «трусъ бысть страшенъ... великий градъ... весь падеся и гробъ бысть живущимъ в немъ; инии же подъ землею погребошася, елици же суще живи — огнь изшедъ из земли и позже ихъ; тако же и ото аера огнь исходя, яко молниа, и обретающаяся пополяше» (292–293); «моръ бысть... внезапу умираху, ничто же глаголюще. Быша же и громи велици и молниа... И трусъ велий бысть по вселеней, яко всему миру пастися. И море изыде отъ пределъ своихъ... и слышашеся скрежеть с небеси страшенъ, и умроша, падающе другъ на друга, тысящь десять» (295) — и так почти на каждом листе хронографического повествования о византийской истории, насыщенного к тому же метафорическими высказываниями о трагической бурности жизни: «в море житейстемъ... напрасно дохну, яко буря, вражда» (287); «облакъ теменъ, и буря свирепа, и волны тяжкиа корабль сотрясоша православиа» (290); «буря востаеть... царство семо и онамо и люте волнуемо» (356); «паки проседошася нашествиа варъварьскаа и пакы дохнуша вихри отовсюду и шумы воспущаху» (380) и мн. др. В конце концов Царьград захватывают турки — «яко же садъ оцепенелъ мразомъ зимы лютыа и увядъ и бысть в поношение и уничижение языкомъ» (438).

Основное умонастроение составителей «Хронографа» из этой массы однообразных мотивов достаточно ясно. Из колоссального собрания рассказов «Хронографа» следует, что жизнь в общем беспросветна — и в Ассирии, и в Риме, и в Византии, и в иных странах и землях, начиная с Адама, когда он даже еще до создания Евы «успе горкимъ сномъ, сномъ — начатькомъ ниизвержению и всегубителныа вражды» (26). Главная причина горести жизни заключена в ее непостоянстве: «Но увы, увы, убо боязнено есть ради времени преобращения и случая непостояннаго... Стояти убо долъго ни царство, ни сила, ни честь, ни образъ, ни

же векъ, ни богатство въ преходящемъ семъ миру не довлеютъ... Никоя убо сила, никоя власть, никое царство подъ небеснымъ кругомъ быти продолъжено можетъ. Ни которому летъ есть на единой всегда стояти степени. Ничто же человеку утвержено, еже и время потомъ не попустить» (327). Правда, этого рассуждения нет в основном списке 1538 г., по которому издан «Хронограф», а есть оно в более позднем списке XVI в., сохранившем многие первоначальные чтения оригинала, утраченные в основном списке[124]. Но другие, аналогичные по духу высказывания о всеобщей жизненной переменчивости попадаются и в основном списке вкупе с остальными списками: «таковы ти суть твоа игры, игрече, коло житейское!» (377); «сице самодръжества и камениа коло, горе и долу превращаяся, разсыплеть» (372). Отношение к жизни глубоко пессимистично в «Хронографе», потому что в ней движущей силой мыслятся несчастья и пороки, прежде всего сама царская власть: «царствие — вина вражде и кровопролитию» (331); затем — все люди: «Но убо непорочень никто же отъ земленородныхъ человекъ, аще и на верхъ добродетели постигнетъ» (361); «сице неисправлено есть земленородныхъ житие!» (372); многие плохие стороны в человеке портят жизнь: «Оле, оле, доброненавистная душе! Увы, увы, разумъ звеaровидный» (317); «оле, страсти властолюбиваа» (324); «оле именнолюбию» (327); «о злато, предеръзый предателю, о злато, другопродателю и родоубийца» (313) и пр. Наконец, смерть меняет все постоянно и к худшему: «О смерти, всехъ не щадящи!.. О безна, иже и добра естьства не милуеши, но вкупе всехъ полагаеши во гробе погребены!» (299); «не щадить никого же адъ всеядець» (370) и т. п.

Явственный пессимистический настрой выдают и признания рассказчиков в «Хронографе»: «препобежаеть мя страсть, и смущаеть мя плачь, и призываеть слезы изъ моею очию... горесть бо душевнаа глаголати принужаеть» (297); «азъ же, избравъ ото всехъ сихъ гаврана чернейшаго, отъ черъности покажю» (317) — речь идет не о воронах, а о хронографическом принципе отбора фактов, притом самых «черных», создающих гнетущую историческую картину.

Прочие материалы «Хронографа», посвященные православным странам — Болгарии, Сербии и России, — хотя и менее пессимистичны, однако все-таки продолжают привычный горестный

лейтмотив, несмотря на различность источников, использованных в «Хронографе». Болгары предстают воюющими непрестанно со всеми своими соседями и обычно терпящими поражения от соседей. Сербские правители – благочестивы, строят города, церкви и монастыри, но запустение постигает Сербское царство в результате нападения турок: «Внезапу вся в мерзость запустениа быша, вся горести исполнишася, храми разоряхуся и сожигахуся. людие изгоними бываху... всея земля Серпъские, еже не по мнозе бысть отъ безбожныхъ турокъ» (435).

Россия же благополучна: «Сиа убо вся благочестиваа царствиа – Греческое и Серпьское, Басаньское и Арбаназское, и иннии мнози – грехъ ради нашихъ Божиимъ попущениемъ безбожнии турки поплениша, и вь запустение положиша, и покориша подъ свою власть. Наша же Росиская земля Божиею милостию и молитвами Пречистыя Богородица и всехъ святыхъ чюдотворецъ растетъ, и младеетъ, и возвышается, – ей же, Христе милостивый, дажь расти, и младети, и разширятися и до скончания века» (439–440), – эта фраза особенно бодра по сравнению с аналогичной уже известной исследователям фразой из болгарского перевода «Хроники» Константина Манассии – основного источника «Хронографа» (ср. о Болгарии: «нашъ же новыи Цариград доитъ и раститъ, крепит ся и омлажает ся, буди же ему и до конца расти... приемшу... великаго царе бльгаром»[125]) – тем более что этой фразой завершается собственно «Хронограф»; однако вовсе не так оптимистично в нем предшествующее изложение о Руси, доведенное до 1451 г. и состоящее в основном из хронологического перечисления событий, в подавляющем большинстве из кратких сообщений о княжеских междоусобицах и татарских нападениях, убийствах и кровопролитиях бесконечных. Даже в кратком хронографическом изложении русских событий сохраняются горестные признания рассказчиков: «хощю рещи, о друзи, повесть, иже и самехъ безсловесныхъ можетъ подвинути на плачь и глаголати “горе и увы”» (396); «хощу глаголати повесть еже не точию человекы, но и нечювьственое камение и самыа стихиа творить плакати» (437). После смерти Владимира Мономаха сжатое хронографические изложение чем дальше, тем чаще упоминает зловещие знамения на Руси: «учинися все, яко кровь... явися ино знамение велие на небеси: три солнца на востоце, а

четвертое – на западе» (390); «знамение бысть въ солнци черно, а само, какъ кровъ, и мгла стояла полъ лета» (412); «явися на небеси знамение в вечернее время на западе, яко огнь, звезда копейнымъ образомъ» (424); «бысть знамение... иде кровь ото иконы святыя Богородица» (425); «на небеси явишася три стольпы огнены... мгла стояла 6 недель, солнца не видали, и рыбы в воде мерли, и птица на землю падали – не видели летать» (431) и т. д. Естественно, мор регулярно отмечается: «моръ бысть... въ граде осталося 10 человекъ точию» (416); «моръ бысть на люди силенъ... всякое жито подъ снегъ полегло, некому жати, люди померли» (426); «моръ бысть великъ зело на люди во всей земли Русской, мерли прыщемъ... И после того мора, какъ после потопа, толико летъ люди не почали жить» (430); последний из сравнительно подробных рассказов «Хронографа» – это описание болезни и смерти князя Димитрия Юрьевича Красного, как «болячкя в немъ движеся» (433). Но как бы то ни было, Россия – последняя, тревожная надежда, что Бог «паки возставитъ благочестие и царя православныа» (439). Отсюда вперемешку с бедами – сообщения о чудесах на Руси: «явишася чюдеса ото иконы Пречистыя Богородица... иже и до сего дни чюдеса творить» (425); «у гроба чюдотворца Петра чюдо бысть», «у гроба Петра-чюдотворца исцеление бысть» и пр. (425, 410).

И все же давящий пессимизм преобладает в «Хронографе 1512 г.», и реальные объяснения такому умонастроению еще предстоит найти. Может быть, предчувствие неминуемых бед от крепнущей центральной государственной власти повлияло на работу составителей «Хронографа 1512 г.»? В таком случае «Хронограф» продолжил тревожные политические ожидания «Повести о Дракуле» и «Стефанита и Ихнилата», а также, пожалуй, Максима Грека и Федора Карпова.

## 8. «Подтвердительная» повествовательная манера «Степенной книги»

«Книга степенна царского родословия», составленная в течение 1560–1563 гг. в Москве царским духовником и протопопом кремлевского Благовещенского собора Афанасием[126], – явление титаническое в истории древнерусского литературного творче-

ства, известное риторичностью своего исторического повествования, при этом не хаотичного, а пунктуально разработанного по неким четким принципам, которые особенно хорошо видны по последней части книги – «семнадцатой степени», излагающей события, только что произошедшие накануне завершения памятника, – даже 1563 г. упоминается здесь: «потомъ же въ лето 7071...»[127]. «Семнадцатую степень» в первую очередь и рассмотрим.

В семнадцатой части книги 26 глав, автор характеризует персонажей скупо и единообразно, обычно с настойчивым повторением прямых оценок – это одно из его главных повествовательных средств. Заголовок и первая фраза каждого отдельного рассказа в каждой главе – обычно самые резкие и экспрессивные, а дальше повторяемые автором оценки лишь подтверждают уже сказанное. Например, в главе 6-й о военных стычках русских с литовцами первую оценку литовцам содержит сам заголовок: «О *сугуболукавственомъ* мире литовскаго краля». Эту оценку повторяет первая фраза вслед за заголовком: «литовский же краль Жигимантъ, гордостию взимаяся, и начатъ *лукавая* умышляти» (631). А дальше уже довольно редки и слабы прямые нападки автора «на зачинающихъ рать»; автор лишь поддерживает первоначальный отрицательный тон высказываний о литовцах, но не более.

В главе 18-й о борьбе с ливонскими немцами тоже крайне резко первое упоминание о них: «Потомъ же *богомерзцыи* немьцы... самочиниемъ *возгордешася*» (655). Последующие оценки звучат как эхо первого упоминания: «...восколебашася... возбеснешася... *гордостнии* немьцы... *богомерзции* же немьцы» (656–657). Но глава велика, состоит из двенадцати подглавок, и вторая подглавка добавляет свои оценки: «немьцы *лъстивно*... умысливше... злословесное их *коварство*» (656); и пятая подглавка добавляет еще: «о *лукавстве* немьцевъ» (658). Эти оценки тоже продолжают повторяться в последующих подглавках: «*лукавии* же немьцы» (658, шестая подглавка), «*лъстивно... лукавство* ихъ» (659, девятая подглавка), «о *лукавстве*... ливоньскаго маистра... *лукавствено коварствуя*» (661, десятая подглавка), «*лукавства* злокозненныхъ немецъ» (661, одиннадцатая подглавка). Составитель текста опять-таки не нагнетал, а только сохранял общий отрицательный тон высказываний о немцах.

Не только о литовцах, немцах или шведах, но, например, и о татарах в такой же манере повествовал автор. Вот глава 20-я о борьбе с крымскими татарами. Заголовок с оценкой: «О *лукавномъ* послании крымскаго царя» (662). Первая фраза повторяет оценку: «...о злохитромъ умирении съ *лукавствиемъ*». Далее следуют повторы оценок дословно или вариации синонимичные: «*льстивого коварства*... безбожьнаго царя» (662), «безбожьный царь... *лукавнуя*... его *злокозненое проньірство*» (663) — отрицательный тон автор не усиливал, но соблюдал его всюду.

Самые разные явления автор описывал, не ища новых слов, а довольствуясь многократными повторами уже высказанных оценок. Например, в главе 9-й о большом московском пожаре 1547 г. повторялись оценки «великий», «зельный» и пр.: «О страшьныхъ и *сугубейшихъ* пожарехъ... попусти Богъ, быти *зельнейшему* пожару... о *велицемъ* пожаре... быти *великий* пожаръ... пламы же *зельнаго* огня, *великия* горы... пламени же *велику*... отъ *зельнаго* огня... *великий* той пожаръ и огненыя пламы» (635—637). И еще — повторы «многий», «весь», «всюду» и пр.: «разыдеся огнь на *многия* улицы, Богу же тако попустившу... *всюду*... ношахуся и *везде*... разливахуся и *многия*... пожигая. И выгоре *все*... и *вся*... испепелишася... *все* выгоре... *вся* сия огнемъ потребишася... *вся* сия безъ вести быша... *всюду* палящу... *всюду вся* пожигающи» (636—637). В других летописях совершенно по-другому, без излишних словесных повторов сообщалось об этом пожаре (см., например, прибавления к «Хронографу 1512 г.»[128]).

Все эти цепи многократных словесных повторов в «Степенной книге» как особенность повествовательной манеры автора нельзя объяснить только так называемым литературным этикетом. У составителя существовала на этот счет какая-то своя цель. Автор с исключительной настойчивостью повторял свои оценки в рассказах обычно для того, чтобы подтвердить: да, этот персонаж или это событие именно такие-то.

В сценах предсказаний и знамений это стремление автора к подтверждению рассказываемого проявилось особенно широко благодаря демонстративным фразеологическим повторам. Например, если Никола Чудотворец обещает, что «*християнству* не имать быти некоего же *озлобления* отъ поганыхъ», то так и получается: «человеколюбивый Богъ не попусти *поганымъ* врагомъ *озло-*

*бити християнъство»* (672); если Никола предупреждает, что «*предаетъ Богъ* градъ сей Казань *въ руце*» российского царя, то затем дословно так и происходит: «*въ руце* благочестивому царю *Богомъ предана* быша» (646–647). Или в других эпизодах многие провидцы призывают казанских татар: «*Повинуйтеся* безъ лукавствия московскому *государю*», «поспешите *умолити* московскаго царя» — и дальше так в точности и случается: татары «православному царю и *государю*... во всемъ *повинны* себе творяху», «начаша *молити*» (640, 641, 648); когда предсказывают Казани: «быти *на томъ месте... церквамъ*» — это свершается тоже дословно: «еже и *бысть* благодатию Христовою», «*на томъ месте... церкви* поставлены быша» (641–647); пожелание: «Богъ... место сие да *просветитъ благочестиемъ*» — и результат: «вся благая, яже даруеши намъ... земля Казанъская ныне *благочестиемъ просвещаема»* (645 и 648) и т. д. Естественно, не только о Казани автор рассказывал с подтверждающими фразеологическими повторами. Так, во время московского пожара некто видит в видении Богородицу, «*умаляющи»* огонь, и тут же повествователь сообщает, что, действительно, «нача гневъ Божий *умалятися* и пламы огненыя умалятися» (637). Или один из персонажей заклинает и дословно по заклинанию то же и получает: «Самъ, Владыко, пречистыми усты реклъ еси: "...аще кто и смертно испиетъ, *не вредитъ* ихъ". И выпивъ сосудъ зелия, и ста *ничимъ же врежен*ъ... *ничимъ же не вредимъ* силою и действомъ Святаго Духа» (665). Даже оговорка подтверждается дословно. Персонаж оговаривается мельком: «Бога... ради... аще и... *раздробленъ* буду» — это же и случается с ним: «кости его *надробно* разметаша... пострада за Христа» (649–650). Наконец, не только в сценах предсказаний, вольных или невольных, но и в сообщениях, например, о разных повелениях и просьбах автор следовал своей заверительной манере повествования и неукоснительно вводил подтверждающие повторы слов и выражений. Так, один персонаж велит другому: «*звони скорее*», и другой «*скоро* шедъ, *позвони*» (643); или не крещеный знатный татарин просит митрополита, «дабы *умолилъ* о немъ государя *царя... милости* прося и... *крестити* бы его *повелелъ*. Боголюбивый же *царь моления* ради святительска и болярска *милостъ* показа ему и *крестити его повелелъ*» (650) — как будто сделана выписка из юридического доку-

мента, дотошно повторяющего формулировки для точной фиксации фактов.

И уже совсем навязчив был автор в своем стремлении к подтверждению и закреплению характеристик явлений на протяжении больших рассказов. Он, например, на одну и ту же тему целыми сериями излагал знамения и предсказания – одно за другим, с повторяющимися толкованиями (если повторить, например, семь прорицаний о покорении Казани, вот тогда-то, по авторской логике, можно «разумети есть по всему» что произойдет – 639–640). Многократно повторялось у автора даже отдельное чудо или знамение: если персонаж вдруг слышит загадочный колокольный звон, то «въ коемъждо оконьце храмины своея слыша тако же звонъ – тако по Бозе благонадеженъ бывъ» (646); если вода в сосуде, стоящем на лавке, чудесным образом закипает, то и вторично сама собой закипает она и потом еще «три краты чюдесно кипяще» – «сие Божие милосердие» (652); привидевшийся персонажу Никола Чудотворец «глагола... и вторицею то же рече» – «отъ Бога посланъ» (672). Автор обязательно подтверждал богониспосланные явления многочисленными свидетелями и свидетельствами: «услышася повсюду», «мнози поведаху», «мнози виде», «многимъ людемъ показуя», «мнози узреша» и т. п.; или же делал характерную для него ссылку: «прочее же о сихъ довольно писано есть во известныхъ летописаниихъ, зде же вкратьце явлено есть великаа Божия чюдодействия» (651) – таких подтверждений тоже немало. В общем, почти в каждом своем рассказе автор последовательно стремился к определенности, подтвержденности, непоколебимости оценок и характеристик и не любил ничего «непостоятельнаго» (642), «непостояннаго» (637).

Исключение, правда, есть. В маленькой главе 7-й о событиях Смуты вначале уважительно упоминаются «благонадежнии боляре великаго князя и прочии вельможи», но дальше, напротив, рассказывается как раз об их неблагонадежности и коварстве, в которые они «вражиимъ наветомъ... уклонишася» (634). Это другой тип изложения, не подтвердительный, а саркастично-противопоставительный, и проник он из письменных источников Смутного времени, которые здесь пересказал составитель «Степенной книги». Однако всюду в остальных местах автор прочно

придерживался подтвердительно-закрепительной манеры изложения.

Но зачем с такой чуть ли не юридической дотошностью составителю надо было подтверждать, поддерживать, закреплять те или иные мотивы в каждом своем мало-мальски риторическом повествовании, хотя он ни с кем не полемизировал своими подтверждениями? Причина – в авторском мировоззрении. К подтвердительному изложению, по-видимому, привел идеологический принцип, последовательно исповедуемый автором, считавшим, что буквально все события, от великих до мельчайших, происходят «Божиимъ хотениемъ... а не человеческимъ самочиниемъ» (643): плохие события и дела – «попущены» Богом, гневом Божиим, а хорошие – дарованы, утверждены, поручены, споспешествованы, водимы Богом, Его благоволением, помощию, заступлением, благодатию, хотением, силою, милостию, пособием, промыслом и мн. др. – подобными авторскими замечаниями, разъяснениями и восклицаниями обильно заполнено все изложение, каждый эпизод, – «Богъ... везде сый и вся исполняя отъ небытия в бытие» (628). До «Степенной книги» повествователи, кажется, нигде так часто не ссылались на Бога. Раз «Богъ Своею крепькою десьницею всегда и всюду наставляя» (630), то «крепко» надо писать о том, с усиленными подтверждениями соответствующих тем и мотивов.

Верой автора в непрестанность высокого богоучастия в человеческих делах были порождены не только особая «подвердительная» манера повествования в «Степенной книге», но еще и авторское пристрастие к различным возвышающим мотивам в его исторических рассказах. Благодаря повсечасному и повсеместному участию Бога в событиях мир «Степенной книги» выше обыденного, свойства персонажей – исключительные. Оттого прилагательными в превосходной степени начинил составитель текст семнадцатой части: царь – божественнейший, святейший, крепчайший, самодержавнейший, мужественнейший, кротчайший, возлюбленнейший и т. д. (666–668), «сладчайшее имя Иванъ» (629). Плохое, «попущенное» Богом, – тоже в превосходной степени: пожар – зельнейший, сильнейший, сугубейший (635); иконоборцы – злейшие (656, 662) и пр. Еще чаще в тексте употреблялись прилагательные с приставкой *пре-*: царь – Богом

преславнейший, пресветлейший (666); митрополит – христоподобно превысочайший (634); Христа ради юродивый – сугубо преукрашенный (635); храм во имя Богородицы – «преудивленъ» (651); видения – предивные (637); победы – преславные (633, 649) и т. п. Сравнениями автор тоже повышал статус персонажей и их деяний как богоподдерживаемых: царь – «яко же Давидъ» (643), «подобно Моисею» (646), «яко же бо второе солнце» (666); царскими детьми – «яко райскими цветы крася» (652); Александрийский патриарх – «лице его, яко лице ангелу» (665); юродивый – «яко бесплотенъ» (635); русские воины – «яко львы рыкающе» (646), «въ малыхъ челнехъ, аки въ кораблехъ» (673); чудесное – «светъ необыченъ, яко великъ пожаръ» (643), «звонъ... яко большого колоко́ла гласъ» (646) и мн. др.

К возвышающим относятся также мотивы материального «изообилования» и довольства в повествовании: Москва – «милосердый же Богъ... всякая требования и богатства и утвари драгия сугуба дарова имъ... и различная имения ихъ усугубишася и всякаго блага исполнишася, тако же и торговая купля *преизобиловала*» (638), поход – «многое воиньство всюду, яко Богомъ уготовану, пищу обретаху... всякимъ благовоннымъ овощиемъ *довляхуся*... все бесчисленое воиньство не трудно *доволяшеся*. И тако всесильный Богъ пищу и всякую потребу... всюду готову и *преизобильну* устраяя... всякими потребами *изообиловаху*» (643); митрополит – «многимъ имениемъ *изообилова* его» (630); «христолюбий же царь... милостынею *издоволи* его» (665); монастырь – «благочестивый самодержецъ монастырь той имениемъ же... *удовли*... исполни... преисполнено украси» (652).

Наконец, к возвышающим мотивам относится всюду ощущаемая чудесность явлений. Традиционный мотив света и сияния специально в чудесах, знамениях и видениях у автора перешел и на обыденную земную реальность, которая благодаря участию Бога не совсем обыденна: например, перед падением Казани «разливашеся *светъ* надъ всемъ градомъ, во *свете* же мнози столпове *пресветли* блещахуся» – «христианское знамение» (646); а после казанской победы все «ведряно и *светло*... небеса – *светлость*... *светлу* и преславну победу нося... и все паче солнечнаго сияния *просвещахуся*» (647–649); у Александрийского патриарха, избежавшего отравления, «*просветися* лице его» (665); царь «намъ *светлейший*

явился еси... твое благочестие *светится*... и Божиею помощию... яко же... отъ солнычьнаго сияния греемн бываху» (666–667) и т. д.

Кроме того, удивительно беспрепятственно и «скороустремительно» передвижение богозащищенных персонажей у составителя «Степенной книги»: не только «мнози святии... по воздуху ходяху» (644) или юродивого «видеша его по морю ходяща, яко по суху» — «такову благодать приятъ отъ Бога великихъ чудодеяний» (635–636), но и «легцыи же воеводы» (632), и обыкновенные воины «скороустремительно поидоша... Богомъ подвизаеми... преидоша реку, яко ангеломъ носими» (658) или «Божиимъ хотениемъ... не трудно, яко играюще, преидоша» (643), «Богомъ подвизаеми... яко облакомъ носими, скороустремительно на градныя стены и на самый градъ скакаху» (646) и пр.

В общем, всеми относительно скромными красотами своего повествования составитель выразил представление о неотступном участии Бога в событиях везде и всегда. Такое доведенное до крайности представление еще не встречалось у древнерусских авторов.

Идея богоучастия постоянно смыкалась у автора «Степенной книги» с идеей богозащищенности. Поэтому начиналась семнадцатая часть с цитаты: «...просите... и будетъ вамъ» (628); оттого человеколюбивым и милосердным автор часто называл Бога; повторял и более развернутые определения Бога как покровителя: «иже... отъ века и до века вся строя на пользу человеческому роду», «иже вся на пользу строяй человекомъ», «иже искони все на пользу строяй человеческому роду» (628, 630, 644); недаром автор затронул тему «невидимаго покрова Божия, всегда пребывающаго на верующих Богу» (645) и далее: «да будетъ покровъ и сохранение всемъ» (669); и даже молил (вместе с персонажами): «мы же непрестанно вопиемъ Ти: “О ... Боже нашь, яко же ныне, тако и всегда не остави насъ и не отступи отъ насъ, помагая намъ, и милуя, и спасая насъ въ настоящей сей жизни и въ веки бесконечьныя!”» (648); и подтверждал с надеждой: «и до ныне чудеса содеваются – тако насъ Пречистая Богородица преславно избавляя от всяческихъ бедъ и чюдесно спасая» (638), «Пречистая Богородица... преславно и избавляя насъ отъ предлежащихъ бедъ» (637).

Тему божественной защищенности России и православных автор на разные лады повторял в рассказах семнадцатой части. Защищенность обретали города: например, Себеж обстреливало литовское войско прямо у города, однако «Божиимъ же заступлениемъ и посещениемъ Пречистыя Богородица и чюдотворьца Сергия ни едино ядро пушечное и пищальное не прикоснулося ко граду, но чрезъ градъ летаху... иные же ядра предъ градомъ падаху» (633). Защиту получали и самые незащищенные персонажи, например, юродивый ходил полностью нагой и под знойным солнцем, и в лютый мороз — потому что «душевною же добротою неизреченно одеянну ему... его же ни огнь, ни мразъ не врежаше, Божия бо благодать греяше его» (635). Буквально все упоминания о Боге у составителя были так или иначе связаны с темой защищенности, помощи и поддержки, автор не отвлекался от этой темы, даже когда говорил о всяческих несчастьях: «сими скорбьми хотя ихъ очистити Господь, ово же утверждая Богъ совершено и непоколебимо царство...» (630), «человеколюбивый же Богъ... не хотя конечьной пагубе предати насъ» (635); «сама бо Богомати... всего мира покрывая и защищая отъ всякаго зла» (637); «всячески по Бозе благонадежно спасение имуще» (652) и пр.

Теперь охватим в целом всю «Степенную книгу». Для ее остальных частей типична та же «подтвердительная» повествовательная манера, хотя все-таки в меньшей степени — из-за включения множества разнотипных больших источников в общее повествование. Но рассмотрим самое начало — вступление к «Степенной книге», составленное в виде пространного жития княгини Ольги, которое написал Сильвестр, священник Благовещенского собора в Кремле[129]. Здесь составитель тоже все повторял один и тот же мотив. Например, сплошь подтверждал премудрость Ольги, начиная с заглавия: «...житие... въ *премудрости* пресловущия великия княгини Ольги», и далее: «*премудрости* и разума исполнена» (6); затем автор и персонажи постоянно поминали «Ольгу *премудрую*» (8): «Кто не удивится сея блаженныя Ольги *премудрости*, и мужеству, и целомудрию? ...бе мо *мудра* паче всехъ, *премудростию* уразуме...» (11); в большинстве эпизодов персонажи удостоверялись в премудрости Ольги: «видевъ ю царь... въ беседовании смыслену, и разумомъ украшену, и въ *премудрости* довольну...

и вельми царь почюдися великому разуму ея... глубокий въ *премудрости* умъ ея...» (13), «дивляше бо ся великия ея... тоя *премудрости* величеству» (16), «имеша ю яко едину отъ *премудрыхъ* и разумнейшу» (24), «ея же въ нашихъ родехъ никого же не бысть *мудрейши*» (26) и т. д.

Автор бессчетно подтверждал премудрость Ольги, потому что за всеми проявлениями этого качества всегда присутствовал Бог: даже когда Ольга «еще не ведущи Бога и заповеди Его не слыша, такову премудрость... обрете от Бога» (8), «отъ Божия промысла свыше светомъ разума осияема» (12), а уж после крещения тем более «яко Святый Духъ вселися въ душу ея и научи ю тако мудрствовати» (16), «отъ Него же неизреченную премудрости благодать обрете» (25), действовала «от Бога данною ти премудростию» (29), так что «дивити же есть... богодарованной премудрости и разуму блаженныя въ женахъ Ольги» (34), которую автор к тому же часто называл «богомудрой».

И другие качества Ольги настойчиво подтверждал автор, проводя идею всепроникающей богоданности. Так, много раз автор возвращался к теме мужества и целомудрия Ольги – ведь она «богоизбранный сосуде целомудрия» (29); постоянно связывал с ней мотив света и сияния, потому что она «богосиянная русская звезда», «Господь... приведе ю въ познание истиннаго света» (29, 16) и пр.

Множество фразеологических элементов переносил составитель жития из эпизода в эпизод. Например, рассказ о встрече Ольги с Игорем авторскими выражениями и оценками перекликался с последующими рассказами, особенно о встрече Ольги с Цимисхием, да и с иными эпизодами, – их почти десяток, и словесно они изложены резко иначе, чем в «Повести временных лет». Вот заголовок рассказа: «О великомъ князе Игоре, како *сочьтася* со блаженною Ольгою»; и вот конец: «и тако *сочьтана* бысть ему закономъ брака» (7–8); а вот уже о Цимисхии: «умышляше ко *счетанию*» с Ольгой (13) «не получихъ *счетатися*» (16), «прельщаше ся... о *счетании* брака» (18–19).

Или другой мотив – «коварство». Сначала оценка домогательств Игоря: Ольга «уразумевше глумления *коварство*» его (7); потом та же оценка брачной интриги Цимисхия: Ольга «уразумевши, яко... симъ *коварствомъ* поколеблетъ душу ея... *коварство*

всячески тщащеся упразднити» (13); и снова о том же в речи Ольги: «О царю, несогласная тогда умышления *коварства... коварство* твое упразнися» (18–19).

Повторялись в житии обозначения еще одного мотива: Ольга с Игорем — «пресекая *беседу* неподобнаго его умышления» (7); то же происходит с Цимисхием, который «составляетъ *беседу* тщетну», но Ольга возражает: «ты, о царю, всуе о семь *беседуеши*», «прекратимъ *беседу*» — «и душетленную его *беседу* мужествене отсече» (15–16).

Окончания рассказов также держались на повторах оценок — Ольга стыдила Игоря: «*студная* словеса износиши», «уязвенъ будеши всякими *студодеянии*», и тогда Игорь «со *стыдениемъ* своимъ и съ молчаниемъ преиде» (7–8); Цимисхий тоже «съ *студомъ* въ чювство прииде... *студа* гонзнути» и признался: «срамъ и *студъ* приобретохъ си» (16) и «со *студомъ* отъ таковыхъ умолче» (19).

И другие рассказы были заполнены повторениями мотивов, как, например: «отъ всякого вреда вражия *избавляемся*» (7), «спасетъ и *избавитъ* от лукаваго» (17), «Божий же промыслъ весть благочестивыя отъ напасти *избавляти*» (22–23), «чистота бо древле Иосифа *избави*... Сусану... *избави*...» (25), «девьство... воздыхания *избавительно*» (31), «да *избавитъ* насъ Господь Богъ от всякихъ напастей и бедъ» (38) и т. д.

Все это множество повторов культивировалось потому, что автор пунктуально выступал как идеолог: побуждал «прилежно искати разумъ къ Божии воле» в событиях (35) и повсеместно по каждому поводу внушал, что все происходит «не отъ человеческаго научения, но отъ вышняя премудрости» (29): «всесильный Богъ своимъ неизреченнымъ промысломъ по чину строитъ» (35), «сице благодать Божия действуя древле и ныне овогда въ мужехъ, а овогда в женахъ» (37) и пр.

С идеей богоучастия сочеталась идея богозащищенности. Составитель жития надеялся на Божью защиту уже и в его время. О защите просила не только Ольга («помощи отъ Него требуя: "помощникъ ми буди и не остави мене, Боже"» — 13, 21), но и сам автор: «молитеся безъ вреда сохранити и спасти державу... самодержъца царя и великого князя Ивана... и со всеми христоименитыми людьми, яко... даруетъ имъ Господь везде и всегда, во всякомъ времени и месте на вся супротивныя... победу» и т. д. (30–

31). Начальная часть «Степенной книги», таким образом, оказывается особенно сходной с последней, семнадцатой частью книги той же «подтвердительной» повествовательной манерой и доведенным до крайности богоуповающим умонастроением авторов.

И далее повествовательное сходство время от времени наблюдается в оригинальных рассказах в «Степенной книге», отклоняющихся от ее летописных и иных источников. Например, история о любовных домогательствах великого князя Юрия Святославовича Смоленского к чужой жене — к Ульянии Вяземской (в тринадцатой части книги) хотя и не так уж пространно изложена, но и не так лаконично, как, например, в «Софийской второй летописи» под 1406 г.[130], и содержит много повторяющихся оценок и пронизывающих текст мотивов. Ульяния объявляется целомудренной, что бы с ней не случилось: «та бяше *целомудрена*... ея же *целомудреному* благоумию позавиде древний врагъ диаволъ... Она же... о *целомудрии* подвизашаеся... видя... такову крепкодушьну о *целомудрии* ревность... *целомудреныя* княгини Ульянеи» (445); а князя сопровождают слова «блуд», «стыд» и «срам»: «уязвенъ бысть на ню *блудною* бранию и... *безстудным* устремлениемъ... Онъ же *срама* исполнися... паче приложи къ *блудному* устремлению... Князя же Юрья Святославича отвсюду обыде сугубъ *студъ* и поношение, сугубо же *срамота* и укоризна... не могий терпети *срама* и поношения...». Все это совершено под неотступным Божьим наблюдением и потому фразеологическими повторами подчеркнуто автором.

Чтобы понять историко-литературное место «Степенной книги», совершим небольшой экскурс в предшествующие годы в обратном хронологическом порядке. Специфическое «подтвердительное» повествование появилось еще до «Степенной книги»; уже в конце 1550-х гг. оно использовалось, например, в «Житии Нифонта Новгородского», которое в 1558 г. по разным источникам составил плодовитый агиограф псковский священноинок Василий-Варлаам[131]. Словесно-фразеологических повторов очень много в сочинении Василия, особенно в местах, им самим написанных, начиная со вступления: «Благословенъ Богъ Отецъ *Вседержитель*... всехъ составление *содержай*... *содержавная* славою... Содетель и *содержитель*...»; тут же параллельно следуют и другие

повторы: «*Творецъ*... всея твари *сотвориша... животворящии*» и т. д.[132] Или: «отъ *благочестну* и святу и милостиву родителю рождься... токмо вемы, яко отъ *благочестну* родителю и святу рождься... Бяху же *благочестнии* родители святаго отрока... во *благочестии* живуще... сей мужь *благочестивый* и съ супругою... отроку отъ такову родителю *благочестну*» и т. д. (2).

И дальше изложение вязко тянулось повторами сюжетно значимых слов: «родителие же... моляху Бога... чтобъ имъ послалъ Богъ *плодъ чревныи*... И услыша Богъ чистую молитву ихъ и *дастъ имъ плодъ чреву*... понеже Бог не презри молитвы родителей онехъ и *дастъ имъ плодъ чрева*... яко же древле Иоакима и Анну услыша Богъ... и *дастъ имъ плодъ чреву*... тако же и сего святаго отрока родителей не презре Богъ моления изъ и... *дастъ имъ плодъ чрева*» (2).

Но в отличие от «Степенной книги» не идеей о доскональной богоуправленности всего в мире было проникнуто «подтвердительное» повествование у Василия в «Житии Нифонта», а скорее желанием постоянства и незыблемости, помогающих благополучно переплыть «море жития сего, лютаго миродержца непостоянную пучину» (7). Все персонажи «Жития Нифонта» имеют касательство к идее постоянства в мире. Например, родители Нифонта, если кормили нищих, то «трапезу имъ поставляше *множицею* и тако творяху... и *до исхода душы* своя еже от телеси и паки *всегда* хождяху въ церковь» (2), так и отошли «въ *вечный* покой» (3) — образец постоянства. Сам Нифонт: «молитва бяше во устехъ его *всегдашняя*» (3), «вельми *крепостию* себе *утвердивъ*» (5), «душею *крепкии*» (6), «и паки восприять... *вечное* наслаждение» (5) — идеал постоянства. Вообще все святые — «молять *непрестанно*» (6), «творять *непрестанно*» (8), обращаются «къ *незаходимому* солнцу Христу» (8) — все у них постоянно. Грешникам суждено впасть в «муку *безконечную*» (7), даже сам сатана связан «*нерешимыми* узами железными *во веки и на веки*» (3) — отрицательный мир тоже пребывает в постоянстве своих черт.

Перейдем к еще более раннему времени — концу 1540-х гг., когда выходец из Пскова и затем протопоп московского дворцового собора Ермолай (позднее в монашестве — Еразм) написал «Повесть о Петре и Февронии»[133]. «Повести о Петре и Февронии» тоже свойственна «потвердительная» манера повествования. Например, даже в одном небольшом эпизоде Петр трижды по-

вторяет: «мне же не *косневшу никамо же,* вскоре пришедшу... и *нигде же ничесо же помедлив,* приидох... Приидох же паки, *ничто же нигде паки помедлив*»[134]. И еще повтор: «чюжуся, *како* брат мой *напреди мене обретеся...* и чюдяхся, *како напред мене обретеся...* не вем, *како... напред мене обретеся*». И много других повторов в этом же небольшом эпизоде: «разуме быти *проньıръство лукаваго змия...* се есть, брате, *проньıръство лукаваго змия*» и пр.

В других эпизодах другие персонажи тоже, можно сказать, прилипли к повторам: «*вниде в дом...* и *вниде в храмину... внидох* к тебе... *прииде в дом* сий и *в храмину* мою *вниде*» (214). Изложение толчется на месте: «...иде *чрез ноги в нави зрети...* глаголя, *чрез ноги в нави зрети...* иде... *чрез ноги зрети* к земле... рех, яко иде *чрез ноги в нави зрети*».

Вся повесть переполнена повторами повсеместно и во множестве, но на этот раз выдают они не потребность автора в богозащищенности или хотя бы в стабильности мира – такое потребуется позже, – а желание понять загадочный мир. Поэтому герои повести все время пытаются в чем-то разобраться и что-то уразуметь, о том и признаются: «не свем и чюжуся» (213); «не внят во ум глагол тех... не разуме глагол ея... глаголы странны некаки, и сего не вем. что глаголеши... и ни единого слова от тебе разумех» (214); «не вемы... да того ради вопрошаем... хотя в ответех искусити» (215); «яко же рчет, тогда слышим» (218) и пр. За надоедливым «подтвердительным» повествованием скрывается постоянная сосредоточенность и вдумчивость персонажей: «в сердци си твердо приимши, умысли во уме своем... добру память при сердцы имея... в сердцы си твердо сохрани» (212); «нача мыслити... бяше в нем мысль, яко не ведыи... искаше подобна времени» (212); «во уме своем держаше» (218); «приим помысл» (219) и т. д.; даже сам автор говорит о своей вдумчивости: «трудихся мыслми» (223), а общий его вывод таков: «ум же началствует» (210), «пребывает в человецех ум, яко отец слову». Думание это особого рода – о будущем, герои пытаются предусмотреть будущее: «мысляше, что... сотворити, но недоумеяшеся» (211); «не ведуще будущаго» (218); только у Февронии «есть прозрения дар» (219).

В общем, получается, что в течение лет 15, с конца 1540-х по начало 1560-х гг., «подтвердительное» повествование выражало

нарастающие степени озабоченности авторов, — от их напряженных раздумий о ближайшем будущем (в «Повести о Петре и Февронии») до поисков постоянства в этом мире («Житие Нифонта») и, наконец, до страстного желания, чтобы Бог защищал нас непрерывно («Степенная книга»). Через год была введена опричнина.

Но пойдем дальше в прошлое. В еще более ранние годы, в начале 1540-х гг. (наверное, и несколько раньше), «подтвердительное» повествование использовалось, как правило, сугубо в документально-юридических целях — при официальной фиксации хода различного рода переговоров сторон: что стороны предлагали, о чем договорились и что выполнили. Например, в конце «Воскресенской летописи» 1542–1544 гг.[135], под 1514 г., помещен изобилующий фразеологическими повторами рассказ о походе Василия III на Смоленск. Смольняне просили, чтобы «*князь великий государь пожаловалъ... бою престати повелелъ...* чтобы *великий государь свою отчину и дедину пожаловалъ, опалу свою и гневъ имъ отдалъ, а очи свои велелъ имъ видети и служити имъ себе велелъ*». Так оно и стало: «и *князь великий государь* въскоре *повеле бою престати...* и *великий государь свою отчину и дедину пожаловалъ... свою опалу и гневъ отдалъ имъ*, и *очи свои велелъ имъ видети*, и *служити имъ себе велелъ*» и т. д.[136] Далее в рассказе видно, как точная, юридическая «подтвердительность» переходит в более вольную, повествовательную «подтвердительность»: «боляры и воеводы и съ всеми людми... *радующеся...* також де и жены межи себе и дети *обрадовашася...* и *възрадовашася...* и бе тогда *радость* видети... въ всемъ граде Смоленске промеже обоих людей *радость* и веселие» (256).

Если прослеживать уже совсем ранние истоки «подтвердительного» повествования, то можно предполагать, что вглубь истории оно не заходило, а сформировалось на основе официальных идеологических писаний последних десятилетий XV в. К самым ранним предшественникам «подтвердительного» литературного повествования можно отнести, например, «Послание на Угру» Вассиана Рыло Ивану III 1480 г.; кстати говоря, послание это включено в «Степенную книгу» (в 15-ю часть). Вассиан в своем послании побуждал царя быть твердым в борьбе с татарами и оттого беспрестанно повторял соответствующие слова: «хочу воспомянути... на *крепость* и утвержение твоей державе», «слы-

шаще доблести твоя и *крепость*»[137]; «еже како *крепко* стояти», «обещавшую *крепко* стояти», «*крепко* вооружився» (522, 524); «мужайся и *крепися*», «Господь Богъ *укрепитъ* тя», «Той *же укрепит*» (524); «ты, о *крепкый.* храбрый царю», «твердое, и честное, и *крепкое* царство дастъ Господь Богъ в руце твои» (530, 534). Соответственно те, кому надлежит подражать, библейские и исторические герои, тоже крепкие в призывах и цитатах Вассиана царю: «возмогай о Господе, о державе и *крепости* его», «Господь дасть *крепость* князем нашим», «князю подобает имети... на супостаты *крепость*» (526, 528); Дмитрий Донской — «сей боголюбивый и *крепъкый*», его сподвижники — «яко победители *крепци* врагом явишася» (528, 530) и т. д. Однако в отличие от более поздних произведений настоятельные повторы в послании Вассиана являлись узко прагматичными, употребляемыми для данной конкретной политической темы и не отражавшими авторского мироотношения широко.

Снова вернемся в XVI в. В течение XVI в. хозяйственно-деловое «подтвердительное» повествование продолжало существовать параллельно с «подтвердительным» литературным повествованием. Например, в «Домострое» так называемой Сильвестровской редакции в середине XVI в. «подтвердительное» повествование выражало лишь деловитую строгость автора. Вот хотя бы отрывок из главы «о столовом обиходе»: «покласти в суды *чистые*... А столовые суды... — всегды бы было *чисто*... И столъ бы былъ *чист*... и огурцы, и лимоны, и сливы — также бы *очищено*... и на столе бы было *чисто*... А рыба... и капуста — *очищено*... А питье бы всякое — *чисто*... А ключники бы и повары... устроилися *чистенко*, а руки бы были мыты *чисто*... все бы было мыто и *чисто*» и т. д.[138] Только нормативный смысл имели повторы в этой мелочной инструкции по ведению хозяйства.

История «подтвердительного» повествования показывает, насколько идейно изменчивым оно было при внешнем однообразии рассмотренной повествовательной манеры.

## 9. Литературные новации «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков»

Среди литературно-исторических произведений XVI в. представляет интерес своей повествовательной манерой большая и, казалось бы, привычно напыщенно-риторичная повесть об ожесточенной осаде Пскова в 1581 г. польско-литовским королем Стефаном Баторием; она была написана («списана») в 1580-х гг. неким жителем Пскова иконописцем Василием, возможно, состоявшим при канцелярии воеводы И. П. Шуйского[139].

В тексте «Повести о прихожении литовского короля Стефана Батория на град Псков» обращают внимание многообразные по содержанию фразеологические совпадения между рассказами о противниках — о персонажах русских и о персонажах польско-литовских. Псковичам автор, конечно, сочувствует, а врагов ненавидит, а между тем как-то странно о врагах пишет. Вполне обычно, например, когда благонамеренная радость отмечается у положительных персонажей — псковичей, которые время от времени «неизреченныя *радости исполнися*» (452), «*радостъ исполнишася*» (462). Но явно отклоняется от древнерусской литературной традиции употребление тех же выражений по отношению к врагу — Стефану Баторию, — он тоже «несказанныя *радости наполнися*» (438). Похвалы, обычно своему русскому войску, распространяются у автора повести и на войско вражеское. Так, храбрыми в повести названы и те и другие: русские «государевы воиводы и вои... *храбро* мужествоваше» (408); но тот же эпитет обращен и к польским «*храбрым* паном» (472); никак не опровергая оценок, автор излагает речь Стефана Батория с теми же определениями «*храбрых* литовских вой» (408): «Вы же... *храбрыя* воя... моего Полского королевства и великого княжества Литовского» (412). Еще: «Сия же християнененавистьцы... *яко желателни елени, по Писанию,*... июдейским советом... *тщателне же и изрядно* к литовскому королю приходят» (406) — выделенные курсивом выражения обычно входили в рассказы о «своих» героях, а тут автор имеет в виду злейшего врага.

Особенно удивительно в повести приложение сочувственных авторских выражений и к русским, и к их врагам одинаково. На-

пример, «царь государь и великий князь Иван Васильевич... *великою кручиною* объят быв» (408), но и польский «король *великую кручину*... впад» (454) и «полякъ канцлер... в *великую кручину* впад» (472). Или автор отмечает не только «начало *болезнем* Руские земли» (408), но и что «литовские люди... начало своим *болезнем* предпоказоваше» (428). Псковичи горюют «с *плачем*... и *воплем многимъ*» (436), точно так же и у литовцев «*плач* велик... и *вопль многъ*» (454). И т. д. В отдельных случаях жалостное повествование автора относится к врагам, как будто это страдающие русские: «*бедные* литовские градоемцы... от *нужи сердца с плачем* глаголаху» (464).

Соответственно одни и те же осудительные слова относятся к обеим сторонам, а не только к врагам. Так, автор повести называет «беззаконными» не только врагов («в *беззаконной* своей ереси» — 444), но и русских («ради ума *беззаконного* нашего» — 410); обе стороны у автора «свирепые»: Стефан Баторий совершает на русских «*свирепое* его *нашествие*» (408), но и русский царь устраивает против «немцев» «*свирепое* ополчение» (406), «царьское на них *нашествие*» (402).

Объяснения надо искать вне прямолинейного обвинения автора в равнодушии к своим соотечественникам или в любви к врагам. Можно указать три разных причины подобных, по существу, идеологически нейтральных фразеологических совпадений в повести. Первое объяснение — из области стиля — лежит на поверхности: все это риторика; автор повести предпочел описывать развитие хорошо известных ему событий не столько реально-изобразительными, сколько искусственно-риторическими средствами. Предметных картин или ярких зарисовок противостояния русских полякам и литовцам в повести фактически нет, зато условных, абстрактно-риторических сцен борьбы в изложении, со сравнениями, противопоставлениями и иными книжными тропами, более чем достаточно.

Литературный образец угадывается сразу: автор повести старался следовать повествовательной манере официальных исторических сочинений XVI в., тяжеловесно подчеркивавших государственную величественность излагаемых событий. Поэтому и автор повести выступал ритором и государственником: верноподданно начинал повесть и все ее эпизоды обязательно с описания

действий и распоряжений русского царя и соответственно «государевых бояр и воевод»; упоминал и цитировал официальные документы; подчеркивал общегосударственную значимость псковских событий: «многия же орды и многия земли» пошли с литовским королем на град Псков и тем самым «на Рускую землю» (420, 418), а от врагов избавил «свою государеву вотчину градъ Псковъ» лично «христолюбивый царь государь и великий князь Иванъ Васильивичь всеа Русии» (470).

Но есть и второе, более глубокое, уже идейное объяснение фразеологическим совпадениям в повести. Все же необычным не только для старой литературной традиции, но и для сравнительно нового официального повествовательного стиля XVI в. является в повести употребление универсальных выражений одинаково по отношению и к русским, и к их врагам, — это не только фразеологическая модификация официального стиля, но и нечто особенное идейно на фоне традиционного отношения к врагу. Разумеется, это не любовь; это — любознательность. Автор повести проявил необычно пристальное внимание к врагам, рассказывая о них как бы с эффектом присутствия в чужом стане. Если русские персонажи в повести, включая царя, как правило, краткоречивы, то Стефан Баторий, его «первосоветники» и дворяне произносят в повести большие речи на советах и обедах, словно бы подслушанные автором, который тем более в курсе их переписки и обильно приводит тексты вражеских посланий и грамот друг другу и русской стороне (послание же русской стороны цитируется в повести лишь однажды, и то как ответ на грамоту Стефана). Автор информирован о врагах: осведомлен о составе Баториева войска, о том, как король «разряжал» полки — поименно, по панам; знает, кто из панов потом был убит (о русских таких сведений автор не сообщает). Автор, будто его услышат, даже обращается лично к Стефану Баторию и к его канцлеру с длинными саркастическими речами (авторских обращений непосредственно к русским деятелям в повести нет). Автор так регулярно и помногу рассказывает о врагах, что повесть расщепляется фактически на два параллельных изложения — о «своих» и о «чужих».

Причина внимания к врагам заключалась в расширении политического авторского кругозора. Несмотря ни на какие автор-

ские проклятия и сарказм, именно противник представлял для автора значительный интерес. Стефан Баторий был интересен, в частности, необычно широкой публичностью своих планов («розослав многогорделивое... свое послание во многия страны и языки», «во всю вселенную прославимся» – 418). Обратили пусть и неблагосклонное авторское внимание необычно любезные и ласковые взаимоотношения короля и его подданных (король постоянно называл их «друзьями», проводил с ними «мудродруголюбныя советы», обращался к ним с «милостивою ласкою», «яко к своим братом»; те отвечали «любезно» и «сердечне», с искусными похвалами – 418, 434, 440 и мн. др.). Стефан Баторий представлял также интерес как громогласный ценитель Пскова (см. высказанную королем публично характеристику города: «четвероограденъ всекаменными стенами, многославен же в земли той и многолюден... богатеством же паче меры сего сияти... великого и славнаго града Пскова... многолюдный же и благородный...» и пр. – 418). Баторий же выступал ценителем и русского оружия («ни у меня с собою нет, ни в Литве остася хотя едина пищаль, еже столь далече шествия пути кажет», то есть такая же дальнобойная, как русская пищаль, – 430). Литовские гайдуки тоже служили рупором уважительного мнения о русском войске («зело бо и до горла крепце горазди... битися руские люди и изрядне горазда мудры начальныя их гетманы...» – 464).

Откуда взялась у автора псковской повести склонность к развернутому изображению врагов, особенно их поведения? Близкий образец известен. Нечто похожее находим в произведении, которое появилось лет на 20 раньше повести о Стефане, – в «Казанской истории», начиная с того, что здесь «формулы, описывающие действия врагов, применяются к русским, а формулы, предназначенные для русских, – к врагам... Русские и враги ведут себя одинаково, произносят одинаковые речи, одинаково описываются действия тех и других, их душевные переживания»[140]. В «Казанской истории», как потом в повести о Стефане, автор много места уделяет повествованию о врагах, приводит множество их речей, рассказывает об их прошлом и внутренних делах. Автор, несомненно, стремился именно изобразить татар – в немалой степени потому, что 20 лет наблюдал их в Казани, попав в плен.

Однако вряд ли «Казанской историей» было всецело предопределено расширение политического авторского кругозора в «Повести о прихожении Стефана Батория» — с вытекающей отсюда манерой равноценного повествования как о русских, так и о поляках с литовцами (хотя некоторые выражения из «Казанской истории» автор повести о Стефане и использовал[141]). Повесть о Стефане гораздо суше и деловитее «Казанской истории», автор повести в плену не был, и поляки с литовцами были интересны ему все-таки иначе, чем татары своей рыцарственностью автору «Казанской истории»[142].

Широта кругозора и, так сказать, «двулагерность» повествования автора «Повести о прихожении Стефана Батория» восходят, пожалуй, больше к повествовательной манере «Хронографа», чем «Казанской истории» и воинских повестей. Как раз для «Хронографа» характерны неограниченность политического кругозора и одинаковая подробность изложения попеременно о каждой из противостоящих сторон: то о язычниках, то о христианах или то о врагах, то о сторонниках православия; о русских и нерусских — и все это с их речами, диалогами, посланиями[143]. Ориентация на повествовательную манеру «Хронографа» и прямо проявилась в повести о Стефане — не только в обилии специфических сложных слов и тавтологических выражений[144], но и в исторических, скорее всего, взятых из «Хронографа», параллелях при описании событий: Стефан «превознесеся на град Псков, яко же древний горделивый Сенахирим, царь асирский» (далее следует рассказ о Сеннахириме, 420, 422); возможное вшествие Стефана во Псков сопоставляется со вшествием Александра Македонского в Рим (440): упоминается «о пленении Иерусалима Титом, царем римским» (правда, со ссылкой на «Писание», 470). Риторические укоры автора повести Стефану и кличка, данная ему автором (а еще и Темир-Аксаку — 446), также напоминают экспрессивные авторские обращения к героям и указания их прозвищ в «Хронографе» — кстати, кличка Стефана в повести — «Оботур» (444) — могла соотноситься как с диалектным словом «абатур, оботур», обозначавшим упрямого, упорного человека, так и с латинским словом «obater» — почерневший, помрачневший: ведь король и его войско «черны образом и делы» (446), да и от

досады. Возможно, хронографична и частость подзаголовков по ходу повести.

Независимо от того, какой конкретный «Хронограф» или иной источник послужил повествовательным образцом для автора повести, важна эта «хронографичность», то есть расширение авторского внимания на «чужих», на врагов, на Запад, за стены своего родного Пскова. Аналогий такому расширенному кругозору автора повести в русской литературе конца XVI в. нет. Автор повести, оставаясь в пределах традиционного литературного творчества, уже приблизился к будущим мироописательным новациям XVII в.

Однако у фразеологических повторов в повести о Стефане есть еще третье объяснение, вытекающее из двух предыдущих и самое главное — на этот раз из области художественного видения мира сочинителем. Фразеологические повторы (не важно — официально-стилистической или хронографической природы) выражали представление автора повести об энергичности, истовости, даже исступленности всех героев во всех их делах, прежде всего военных. Поэтому автор одинаково называл одни и те же этапы или элементы именно активных воинских действий как у русских, так и у противника: стороны одинаково собирают военный совет, потом организуют войско («царь государь... на враги *вооползаетца*» — 402; немцы и литовцы «воинством на новоприемныя государем грады *вооползаютца*» — 406 и т. п.); затем сходно инструктируются начальники («бояр своих и воивод государь царь... *наказует* их своими царскими наказаньми» — 410; «своих великих панов розрядивъ и *наказав* литовский король Степан» — 422); далее одинаково начинается поход («царь государь... *пути ся касает*» — 402; «король Степан... *пути ся касает*» — 422); обе стороны устремляются друг на друга («все воинство християнское... *устремишася* на литовскую силу» — 448; «литовской король... на Рускую землю *устремися*» — 406); происходит столкновение как бы равновеликих «обеих» сил («И бе яко гром велик, и шум многъ, и крикъ несказаненъ от множества *обоиво* войска и от пушечного звуку, и от ручного *обоих* войскъ стреляния и крика» — 438; «кровопролитное торжество свершися *обоих* стран» — то есть сторон, 448); обоюдна крепкость сражающихся («литовскому войску *крепко* и дерзостно на стену лезущим... Государевы же бояре, и воиво-

ды, и все воинские люди со всем христьянским воинством противу их непрестанно и безоотступно *крепко* стояще» — 438; «псковичи противу их *крепко* и мужественно стояху... Литовскому воинству *крепце* и напорне... стреляюще безпрестанно» — 440); не только крепкостью, но, например, и скоростью обладают обе стороны в один и тот же момент («на тех же *скорых* литовских гайдуков *скорогораздыя* псковские стрельцы... изготовлены» — 464); напор равносильный («против русских... *отстояти не могут*» — 402, но и против польского короля «*никая* же твердость *отстоятися может* — 420). И т. д.

Весь мир, по представлениям автора, поглощен неустанной деятельностью. Все герои повести действуют в каждый момент с полной отдачей сил и чувств. Враги: «*крепце* вооружаютца» (400), «*тщателне* же и *изрядно*... приходят» (406), «*всяко тщание* показоваше» (430), «*скоро* и *спешне*» (436), «*тороплившейше*» (452), «по *возбешенному* своему обычию» (460) и т. д. и т. п. Стефан Баторий максимально истов: «*неистовый* зверь» (406), «*всячески* сердцем... надымяшеся» (416), «*всячески* умом розполашеся» (428), «*велием* учрежением учреди» (434), «мало сердцу его не треснути» (440) и пр. Истово действует и русский царь: «*изрядно* на враги стояще» (400), «в воинстве *крепко* силна» (402), «паки наказует *всякими* царскими наказанми и ученми» (414), «умилне и богомудрене свои царьские грамоты пишет» (424), «слезы же, яко струя, ото очию испущающе» (404) и мн. др. Истово борется русское войско: «битися... от всея душа и сердца и *от всея крепости* на враги стояти» (410), «*всяко тщание* показоваше» (416), «*всячески неославно* укрепляя» (422), «всем сердца на подвигъ возвари... все телеса адаманта утвержая» (426), «своя дела *безпрестанно* творяше» (428), «*изрядне* же и мужественно бьющеся... *неославными* образы» (438) и т. п. Даже русские женщины, если молятся, то «кричаще и гласы ревуще, и в перси своя бьюще... о забрала же и о помость убивающеся, молебне вопиюще» (442); если же им приходится участвовать в военных действиях, то они «оставивше немощи женские и в мужскую крепость оболокшеся, и все вскоре... оружие носяще... тщание скоростию показующе» (448, 450). И у каждой из сторон истовы «вкупе вси» (426), «все вкупе... во едино сердце... яко единеми усты... и во единъ глас» (448) и пр. Обе стороны одинаковы, симметричны в своих изматывающих усилиях.

Напряжение сил настолько велико, что и русским, и врагам время от времени требуется отдых, о котором регулярно сообщает автор повести: «великую ослабу приемлют» (404), «упокоиватися распустившу» (406, 410), «розъежаетеся... кони упокоевайте» (412), «отрада... явися» (446), «ретивыя их сердца водою утолеваху» (450), «и от великого своего труда мало некако отдохнувъ» (452) и т. д. Обе стороны опять похожи.

По представлениям автора повести, мир заполнен людьми, энергичными до мозга костей, в том числе энергичными в умственной деятельности; герои в повести умственно и душевно предусмотрительны, все цели они заботливо продумывают, так как все в этом мире требует предварительного «умышления»; участники событий постоянно что-то замышляют и просчитывают: «*умышление* творяше» (432), «великое *умышление* умышляют» (472), «всячески *размышляюще*» (454), «всяко *размышляюще*» (468), «богомудрене... *смышляху*» (434), «*помыслы* вооползаются» (406), «*помыслъ* изрыгну» (408), «разгордеся во *помысле*» (420), «всемудре *разсудительне* усмотрех» (418) и пр. Без истового «умышления» или «помысла» ничего не делается: персонажи размышляют «всякими хитростми и мудрым умышлением» (420), «злоумышленно же и люте лукаво» (432), «всякими своими разными размышлении» (468) и т. д.

Мир вовсе не рефлексивен. Предваряющие помыслы героев, а также их размышления вслух – распросы, совещания, речи, клятвы, послания, приказы – тут же переходят в дело: «розпрашивает... како... укрепишася... и колицему и наряду и в коех местех угодно стояти, и для которыя обороны коему от которого места быти» (412) – и тут же «всяким строением тщащеся» (414); «усоветовав – и смотрев места» (430); «розмышляюще, коими образы... и коею хитростию и мудростию уловим... И тако совет составляют... Паки же по совету своему... устремления... начинают» (456). Для деловитости замыслов героев показательно, что слово «умышление» нередко означает в повести умственное усилие вместе с его материальным воплощением или материальным разрушением: «градоемного умышления места искаше» (430), «сие их умышление всячески разрушишася» (462).

В повести разворачивается борьба деятельных «умышлений»: «кий домыслъ таковъ будет в руских во Пскове воивод или вся-

ких хитрецовъ, иже домыслитца *против* твоего [Батория] великого разума и твоих великих гетмановъ мудроумышленного ума?» (420); «королевские его первосоветников умышление... доведывашеся и тако *противу* умышлений их готовящюся» (458); «изрядне горазда мудры начальныя их [русских] гетманы *противу* всяких наших [литовских] замышлений» (464); «благоразумный разум въ государевых делех *против*... всех королевских умышлений» (474).

Самому сильному уничижению в повести подвергается герой за несоответствие «умышления» и дела: «Что же твоего ума, польский кралю? Что же твоего еще безбожного совету, князь великий литовский? Что же твоего замыслу, Степане? Яко ветра гониши...» (468); «затеял еси выше думы дело» (474). И сам король пеняет своим помощникам за недостаток проницательности и старательности: «Кто ли водители мои, иже на Псковъ ведяху мя, иже глаголаху, яко во Пскове болшого наряду нет... Что же се вижу и слышу?» (430).

В общем, можем сделать вывод: все люди у автора оказываются схожи, потому что во главу всего автор повести ставит энергию людей и их энергичное «умышление», «замышление», «помысл», умение интенсивно «размышлять», — так следует из его повествования о «своих» и о «чужих». Однажды автор даже теоретически высказался на этот счет: «понеже не множеством владелец изправляютца начинании, но добрым советом» (434), то есть тем же активным «умышлением». Однако представление об энергичности людского мира еще не стало полнокровным у автора и не выразилось разнообразно, как это произошло в литературе значительно позже.

В конце же XVI в. тему обязательной истовости деяний персонажей и интенсивности «разума – умышления», пожалуй, больше никто и не затрагивал. Раньше, в 1540-е гг., родственной темы трезвого «разума» касались Иван Пересветов и Ермолай-Еразм. Затем события Смуты обогнали разум. И только к 1620-м гг. вопрос о проницательном «разуме» был поднят вновь (появилась даже «Повесть о разуме человеческом»); а в 1660–1670-е гг. «разум» объединился с темой деятельной «живости» человека, возникло ясное представление об энергичности мира. «Повесть о прихожении Стефана Батория» в литературном отношении, оче-

видно, занимает промежуточное место, — продолжая старое, она предвосхитила новое; это не только одна из вершин компилятивно-комбинаторного литературного творчества XVI в., но и предтеча новаторского литературного творчества XVII в.

## 10. Фразеологическое влияние «Задонщины» на сборник середины XVII в.

Зададим такой вопрос: как в XVII в. книжники относились к почтенной «Задонщине», памятнику XIV–XV вв., в котором отразилось «Слово о полку Игореве»? В качестве примера внимательно просмотрим один сборник повестей, который содержит и «Задонщину»[145]. Любопытной (и до сих пор не замеченной исследователями) особенностью сборника, писанного одним почерком середины XVII в., является повторение сходных фраз и выражений в «Задонщине» и в окружающих ее повестях. Отчасти такие повторения можно объяснить тем, что переписчику нравилось возвращаться к одним и тем же штампам воинских повестей. Например, выражение «сечь без милости» писец повторял в различных повестях; в «Задонщине»: «и нача их... сечи горазно без милости» (188 об.); в «Повести о Давиде и Соломоне» перед «Задонщиной»: «...секите... милости не кажите» (158 об., 163 об.); в «Повести о Дракуле»: «...нача их без милости сечи» (275 об.). То, что редактор или писец данного сборника любил вставлять воинские формулы, подтверждается не менее любопытной деталью: во всех прочих списках «Задонщины» нет выражения «сечь без милости».

С текстологической точки зрения, очевидно, нельзя доверять древности текста «Задонщины» в сборнике Ундольского № 632, хотя слой возможных переделок и добавлений XVII в. еще предстоит выяснить из перекрестных сопоставлений «Задонщины» и повестей. С точки зрения же стилистической знаменателен сам факт сходства фраз: независимо от того, добавлял или нет что-либо писец в «Задонщину», он прежде всего ценил в ней отдельные формулы и выражения, в то время как цельный смысл памятника для писца не был достаточно вразумительным[146].

Наше предположение о подходе книжника середины XVII в. к «Задонщине» как к своего рода вместилищу эффектных формул и выражений укрепляется, если присмотреться к сходным фразам в «Задонщине» данного сборника и в окружающих ее повестях того же сборника. Оказывается, что в подавляющем большинстве выражения эти взяты именно из «Задонщины» и перенесены в окружающие повести. Не отвлекаясь специальным кодикологическим разбором (еще надо выяснить степень оригинальности сборника Ундольского), приведу некоторые примеры в порядке следования повестей в сборнике, исходя из предположения об уникальности окружения («конвоя») «Задонщины» в этой рукописи.

Сборник Ундольского № 632 начинается с «Повести о взятии Царьграда турками», далеко отстоящей от «Задонщины» в сборнике, но тем не менее уже как будто имеющей вкрапления из «Задонщины» по списку Ундольского же. Чуднó называется в «Повести» византийский царь – по имени и отчеству. В этом списке «Повести» мы встречаемся «с православным царем Костянтином Ивановичем» (10). Сразу вспоминается аналогичное именование героев «Задонщины», среди которых главный герой тоже «Иванович», – великий князь Дмитрий Иванович. В том, что «Иванович» навеян «Задонщиной», окончательно уверяемся из конечной части «Повести»: «Тако страда благоверный царь Костянтин Ивановичь за Божия церкви и за православную веру християньскую» (65 об.). Это же рефрен из «Задонщины», сходный в своем последнем повторении в «Задонщине» с приведенной выше цитатой: «И рече князь великии Дмитреи Ивановичь: "...положили есте головы своя за святыя церькви, за землю за Рускую и за веру крестьяньскую"» (193–193 об.).

Еще одно выражение в списке «Повести»: «...и страшно и грозно слышати... и падаху с высоты... древеса» (27 об.–28). Ср. в «Задонщине»: «...грозно и жалостно слышати... а древеса тугою к земли приклонишася» (184). Здесь совпадают не только сами словосочетания, но и сходствуют соседствующие упоминания о «древесах». По всей вероятности, уже начиная сборник, при переписке «Повести» писец (или его предшественник) то тут, то там использовал фразы из «Задонщины».

В трех последующих повестях заметных заимствований из «Задонщины» нет, но кое-что, обычно в концовках повестей, все-таки напоминает об этом произведении. Например, «Повесть о Григории, папе Римском» неожиданно заканчивается следующим обращением к «братии»: «Се же бысть нам, братие, на ползу всем слышащим» (99). Конечно, необходимо знать историю текста повести, прежде чем считать слово «братие» занесенным из «Задонщины». Но на перенос очень похоже: нигде больше в сборнике «братия» не присутствуют. В следующей за «Повестью о Григории» «Повести о Дмитрии Басарге и сыне его» концовка опять заставляет припомнить «Задонщину». Герой назван по отчеству: «...вси кликнуша от млада и до велика: “Много лет государю нашему, новому царю, Богом венчанному Дмитреевичю!..”» (118). Интересно, что этого царя «Дмитреевича», то бишь малолетнего сына купца Дмитрия Басарги, только что величал его отец редким эпитетом, взятым из «Задонщины»: «...чадо мое поломянное» (105). Ср. «Задонщину»: «поломянные вести» (185). А сын Басарги все призывал, «чтобы ся вам, крестьяном, поганой не смеялся» (111, 112, 113 об.). Ср., как в «Задонщине» Дмитрий Иванович говорит: «...ни да посмеют ми ся враги моя мне» (187 об.). Так что, хоть и слабое, влияние «Задонщины» чувствуется в данной части сборника.

Чем ближе в сборнике к «Задонщине», тем больше выражений из нее проникает в окружающие повести. «Повесть об Акире Премудром» и «Повесть о царе Давиде и сыне его Соломоне» в сборнике примыкают к «Задонщине» и явно оказываются в сфере ее фразеологического влияния. Укажу лишь на самые крупные соответствия. В «Повести об Акире» читаем необычный для повести отрывок «воинского» содержания: «... повеле отроком своим седлать коней быстрых и приготовити пардугов борзых и повеле отроком своим на себя воскладовать златокованныя доспехи, и потом скоро поиде...» (125, то же 136). Подобная схема изложения — «седлать коней — иметь доспехи — выезжать» — встречается в «Задонщине»: «...громят удалцы руские злачеными доспехи... Седлаи, брате Андреи, свои доброи конь... выедем» (177). Причем, сочетание «кони — доспехи» в «Задонщине повторяется не раз: «...а под собою имеем добрые кони, а на собе злаченыи доспехи» (180—180 об.), «поскакивает на своем добре

коне, а злаченым доспехом посвельчивает» (183). «Златокованные доспехи» в этом месте «Повести об Акире» (еще однажды — «златокованные» пояса — 129) находят аналогию в часто упоминаемых «злаченых доспехах» «Задонщины», а также в — «окованые рати» (177, 180, 190 об.). Редактор «Повести об Акире», несомненно, пересказывал здесь выражения из «Задонщины». Еще о пересказе фраз из «Задонщины» свидетельствуют, возможно, выражение в «Повести» — «...возверзи на Господа печаль свою» и концовка: «Слава совершителю Богу. Акиру премудрому похвала и слава добрая во веки, и дослужился чести по-прежнему...» (142). Ср. в «Задонщине»: «...возверзем печаль на восточную страну в Симов жребии и воздадим... великому князю Дмитрею Ивановичю похвалу...» (171—171 об.); «похвала», «слава» и «честь» в «Задонщине» поминаются неоднократно; последние слова «Задонщины» по списку Ундольского: «...а чести есми, брате, добыли и славного имени. Богу нашему слава» (193 об.). Использование элементов «Задонщины» в «Повести об Акире» в рассматриваемом сборнике представляется очень вероятным.

В «Повести о Давиде и Соломоне» также немало возможных вставок из «Задонщины». Например, в «Повести» Соломон велит: «...в кой час труба вострубит, и вы седлайте добрых коней» (168—168 об.). В «Задонщине» же Дмитрий Ольгердович распоряжается, когда «трубы трубят»: «...стук стучит, а гром гремит... седлаи, брате Андреи, свои доброи конь» (176 об.—177). Сходство фраз налицо и, судя по приведенному и по последующим примерам, оно идет именно от «Задонщины» к «Повести». Вот фраза из «Повести»: «...и узрил ясных соколов и белых кречат, то ти своих силных воевод» (163 об.). Здесь использованы из «Задонщины» не только сравнение, но и характернейший оборот «то ти»: «...соколы и кречаты за Дон борзо перелетели... то ти наехали руские князи» (180 об.—181). Слова Соломона — «в животе меня не будет» (158 об.—159) — восходят к плачу жен в «Задонщине» о мужьях, которых «в животе нету» (185). Соломон обращается к войску: «...простите меня и благословите. — А сам царь Соломон пошел во царьство...» (159). И это место в «Повести» пересказывает «Задонщину», когда Дмитрий Иванович говорит войску: «...простите мя, братия, и благословите в сем веце и в будущем. И поидем... во свою Залескую землю» (193 об.). Даже

отрывок из «Повести», который я уже цитировал, возводя к формуле воинских повестей, все-таки ближе всего оказывается к «Задонщине», помещенной в данном же сборнике. В «Повести»: «...секите и топчите, живота не давайте, милости не кажите, поворотите свирлу к земли» (163 об., ср. 158 об.). В «Задонщине»: «...вспять поворотили, и нача их бусорманов бити и сечи горазно без милости» (188 об.). То есть только в этих двух произведениях находим индивидуальное сочетание «сечь без милости – поворотити», сочетание, вернее всего, появившееся в «Повести» под воздействием «Задонщины». Не буду перечислять более мелких и менее ясных случаев пересказа редактором сборника фраз из «Задонщины» в «Повести о Давиде и Соломоне». Пристрастие редактора к своего рода «обкатке» фраз и выражений, запомнившихся из «Задонщины», кажется почти несомненным.

После «Задонщины» в сборнике степень ее фразеологического воздействия на тексты падает. В начале «Повести о Темир-Аксаке», переписанной в сборнике непосредственно за «Задонщиной», еще можно найти несколько случаев возможного использования фразовых схем «Задонщины». Самое интересное совпадение таково. В «Повести» великий князь Василий Дмитриевич «пойде с Москвы к Коломне... ста на брезе у реки Оки» (200 об.). В «Задонщине»: «...на Москве кони ржут... в трубы трубят на Коломне... стоят стязи у Дунаю великого на брезе» (173 об.–174). Повторяется схема: Москва – Коломна – «на брезе». Не воздействие ли тут «Задонщины» на «Повесть»? Тем более, что рассуждение о Темир-Аксаке, который «хотел взяти Рускую землю... и проиде всю орду свою земли татарские», и сопоставление Темира с Батыем (200–200 об.) весьма напоминают слова «Задонщины» о татарах, которые «хотят пройти воюючи всю Рускую землю» (178) и такое же сопоставление Мамая с Батыем (190 об.–191).

В последних повестях сборника следы влияния «Задонщины» единичны. Так, в «Сказании о Вавилонском царстве» попадается уже отмеченный нами эпитет «златокованный»: «...и убрався царь во свои златокованныи царьскии воиньскии брони» (221–221 об., еще 226). В «Повести об Азовском взятии» часто употребляется формула «под меч клонити», возможно, взятая из «Задонщины». Ср. в «Повести»: «...православное християньство под мечь кло-

ниша» (234, 241, 244, 245 об., 248, 253); в «Задонщине»: татары «главы своя подклониша под мечи руские» (190). С «Задонщиной», быть может, перекликается и концовка «Повести»: «...сия написахом впред на память... и в похвалу...» (255); ср. в «Задонщине»: «...списах жалость и похвалу» (171). Наконец, два места, сходные с «Задонщиной», обнаруживаются в «Повести о двенадцати снах царя Мамера», завершающей сборник. Первый сон Мамера толкуется как зловещее предзнаменование: «...и пролиется кров человеческая» (302 об.); ср. сходное предзнаменование в «Задонщине»: «...пасти трупу человеческому... пролитися крови» (177 об.). В шестом сне Мамера появляются «крегчущие» зубами персонажи: «...а иные зубы своими крехчют» (308); ср. татары в «Задонщине»: «...скрегчюще зубами своими» (189).

Конечно, не все факты фразеологического сходства «Задонщины» и повестей в сборнике Ундольского правомерно толковать как влияние непосредственно «Задонщины» на окружающие тексты: например, выражение «зубы скрегчюще» употреблялось в «Паренесисе» Ефрема Сирина, в «Слове о трех мнисех» и других памятниках и могло быть использовано «Повестью о двенадцати снах Мамера» и «Задонщиной» независимо друг от друга. Однако в целом можно не сомневаться в воздействии «Задонщины» на списки повестей в рассмотренном сборнике; а отсюда можно думать, что редактор, он же и писец сборника (или его протографа), в особенности ценил в «Задонщине» отдельные фразы и выражения и эти запавшие в память фразеологические «кирпичики» разносил и пересказывал по текстам своего сборника, притом в разные повести вносил разное; а чем ближе к «Задонщине», тем гуще. Наверное, так было интереснее читать повести.

Формально-фразеологический подход книжника к переписываемым текстам (ради яркости повествования) заметен и на примере других повестей сборника, таким образом, взаимодействовавших друг с другом. «Задонщина», в свою очередь, также не избежала их обратного влияния. Напомню о странном и до сих пор недостаточно объясненном месте в тексте «Задонщины» по сборнику Ундольского: «...Руская земля, то первое еси как за царем за Соломоном побывала» (178 об.). При чем тут царь Соломон? Упоминание о Соломоне проникло, вероятно, из примыка-

ющих к «Задонщине» в данном сборнике и часто поминающих Соломона «Повести о царе Давиде и сыне его Соломоне» и двух статей о Соломоне. Или еще одно индивидуальное чтение «Задонщины» в сборнике Ундольского: «...Уподобился еси милому младенцу у матери своеи» (191 об.). Вероятно, имеется в виду великий князь Дмитрий Иванович (в рукописи написано под титлом – «млдцу» – и может быть прочитано и как «молодцу»). Этой фразой «Задонщина» связывается с предшествующими ей в сборнике повестями, почти все из которых рассказывают о «детищах» – молодцах, добившихся высшей чести после тяжких несчастий. Прочитанное, вероятно, имело большую власть над редактором сборника и отзывалось иногда в неожиданных местах. Недаром в «Задонщине», притом только в сборнике Ундольского, писец пояснил, что он «восписах... прочее от кних приводя» (171), то есть, как можно понять, что-то «приводил» из других сочинений[147]. Книжник середины XVII в. для увлекательности изложения растаскивал «Задонщину» на «кирпичики», одновременно вставляя иные «кирпичики» и в нее. Да и в пределах «Задонщины» по списку Ундольского сильно чувствуются повторы и пересказ одних и тех же броских выражений. Таков дробяще-фразеологический подход книжника к древнему памятнику, своего рода занимательная практическая филология – изощренное проявление традиционного компилятивного литературного творчества, заходящего далеко в XVII в.[148]

Если в самом общем виде на рассмотренном нами ограниченном материале попытаться наметить линию развития манер повествования и умонастроений древнерусских писателей с XI по XVII в., то предварительная и, конечно, очень бедная схема получается такой: от благородного, возвышенного, величественного изложения в XI–XII вв. – к нудноватому, «бюрократичному» и «хозяйственному» изложению начиная с XIII в., затем – к тревожному изложению с конца XV в. и в течение XVI в. и, наконец, – к энергичному и развлекательному изложению XVII в. Так что для верного понимания разные памятники надо читать с разным настроением – вот практическое использование результатов изучения древнерусского литературного творчества[149].

## ПРИМЕЧАНИЯ

* Большинство очерков было опубликовано в моей книге «О древнерусском литературном творчестве» (М., 2003), но в данном томе «Герменевтики» они объединены в новую систему, местами значительно исправлены и дополнены. Девятый очерк («Повесть о прихожении Стефана Батория...») еще не публиковался; сердечно благодарю Л. В. Соколову за ценные замечания, позволившие доработать этот очерк.

[1] *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. Приложения. С. 8. Далее страницы указываются в скобках. Орфография передается с упрощениями.

[2] Памятники отреченной русской литературы / Изд. подгот. Н. С. Тихонравов. М., 1863. Т. 2. С. 275. Цитируется список XV–XVI вв., восходящий к первому славянскому переводу «Слова» Мефодия. Орфография передается с упрощениями.

[3] *Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 446–454.

[4] Архангельское Евангелие 1092 г. / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М., 1997. С. 91. Орфография передается с упрощениями.

[5] Памятники отреченной русской литературы / Изд. подгот. Н. С. Тихонравов. СПб., 1863. Т. 1. С. 20–21. Орфография передается с упрощениями.

[6] Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 191. Орфография передается с упрощениями.

[7] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1: Текст. С. 79. Орфография передается с упрощениями.

[8] Успенский сборник XII–XIII вв. С. 153. Орфография передается с упрощениями.

[9] Идейно-философское наследие Илариона Киевского / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. М., 1986. Ч. 1. С. 13. Далее страницы издания указываются в скобках, орфография рукописи передается с упрощениями.

[10] Успенский сборник XII–XIII вв. С. 78, 80, 87. Далее страницы указываются в скобках, орфография рукописи передается с упрощениями.

[11] В связи с этим см. о семантике перечислений в «Повести временных лет»: *Демин А. С.* О древнерусском литературном творчестве. М., 2003. С. 55–66.

[12] Слово о полку Игореве / Изд. подгот. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, О. В. Творогов. Л., 1967. С. 43. Далее страницы указываются в скобках. Орфография текста передается с упрощениями.

[13] См.: *Перетц В.* Слово о полку Ігоревім: Пам'ятка феодальної України-Руси XII віку: Вступ. Текст. Коментар. У Київі, 1926. С. 280; *Адрианова-Пе-*

*ретц В. П.* «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI–XIII веков. Л., 1968. С. 150–151; Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. Л., 1973. Вып. 4. С. 53–54; *Бобров А. Г.* Папороз // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 4. С. 11–13.

[14] ПЛДР: XIII век / Текст памятника по «Новгородской Карамзинской летописи» подгот. Я. С. Лурье. М., 1981. С. 122. Далее страницы указываются в скобках. Орфография древнерусских текстов здесь и далее передается с упрощениями.

[15] Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897. С. 472.

[16] О версиях повести, как называет их исследователь, см.: *Лурье Я. С.* Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании XIV–XVI вв. // ТОДРЛ. Т. 34. Л., 1979. С. 96–115. Среди списков поздней версии повести первичен текст именно в «Новгородско-Карамзинской летописи», см.: *Бобров А. Г.* Новгородские летописи XV века. СПб., 2001. С. 100 и др. Благодарю А. А. Горского за указание на то, что так называемый свод 1448 г. на самом деле появился в 1410-х годах и что в нем эта «поздняя» версия повести о Липицкой битве, использовавшая фразеологию «Слова», могла быть как раз более ранней, чем в «Новгородской первой летописи», бытуя внелетописно уже в XIII в.

[17] *Лурье Я. С.* Указ. соч. С. 103. Вместо «нынешние полцы» появились «нынешние половце».

[18] *Лотман Ю. М.* О слове «папорзи» в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958. С. 34–40.

[19] См.: *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. М., 1958. Т. 2. Стб. 856–857. Ср. также в «Киевской летописи» под 1147 г.: «ужемъ за ногы уворозиша», то есть обмотали (ПСРЛ. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. М., 1962. Стб. 352). В книжных описях упоминается «Евангелие с поворозами», то есть с лентами или ремешками. Благодарю И. А. Комарова за это указание и за консультацию по древнерусскому воинскому наряду. А. Л. Никитин полагает, что «топоръ с поворозою» – это топор с гардой, защищавшей руку. А. А. Пауткин к словам «папорзи», «повороза» добавляет еще слово «павеза», обозначавшее вертикальную выпуклость вдоль щита.

[20] См.: *Адрианова-Перетц В. П.* Указ. соч. С. 130–132. Ср. указание Д. С. Лихачева о «Слове о полку Игореве»: «Метонимия – основной художественный троп в “Слове”... Метонимия характерна преимущественно для военного языка» (*Лихачев Д. С.* Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 3. С. 189–190).

[21] *Истрин В. М.* Книгы временьныя и образныя Георгия мниха. С. 339.

[22] В греческом тексте «Хроники» здесь употреблено слово *λῶροι*, заимствованное из латинского lorum – ремень. В более позднем переводе «Хро-

ники» в XIV в. это слово переведено аналогично — как «поясы». Благодарю за консультацию В. А. Матвеенко и Л. И. Щеголеву, в переводе которых это место звучит еще и так: «для красоты и великолепия он оковал (его) медными обручами и множеством опоясок» — *Матвеенко В. А., Щеголева Л. И.* Временник Георгия монаха (Хроника Георгия Амартола): Русский текст, комментарий, указатель. М., 2000. С. 271.

[23] *Перетц В.* Указ. соч. С. 280. Один из исследователей настаивает, что «паперси, поперсьци» означали часть конского убора, ремень на нижней части конской груди (*Орел В. Э.* «Слово о полку Игореве» и его этимологическое изучение // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. М., 1988. С. 129).

[24] Про «времены» как предметы вращения, метательные диски или мячи см.: *Мурьянов М. Ф.* «Слово о полку Игореве» в контексте европейского Средневековья // Palaeoslavica. 1996. Vol. 4. P. 120, 123, 127. Есть еще реконструкции: «камены» и «пламены» (Там же. С. 106), но и эти исправления остаются в тех же смысловых пределах.

[25] Ср. весовое описание амуниции Голиафа в «Хронике» Георгия Амартола: «шлемъ медянъ на главе его, и въброня, в ня же ся облачаше, имущи сиклъ 5000 меди и железа, и ножнице медяны на ногу его... копье 600 сиклъ железа, и щитъ медянъ...» (125). Одна лишь броня весила 50—60 кг, а наконечник копья — 6 или 7 кг.

[26] О значении слова «треснути» см.: *Перетц В.* Указ. соч. С. 280; *Адрианова-Перетц В. П.* Указ. соч. С. 107, 134.

[27] *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 112.

[28] О фольклорности первых книг «Истории» см.: *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны... С. 39—40. О метонимичности изложения Иосифа Флавия см.: Там же. С. 84—86. О конструировании речей героев древнерусским переводчиком см.: Там же. С. 82 и др.

[29] Там же. С. 216, 221, 239, 258, 277, 295, 300, 315.

[30] Там же. С. 376. Ср. полки в «Хронике» Амартола: «все железомъ утверженомъ» (558).

[31] Там же. С. 402.

[32] Там же. С. 258.

[33] См.: Там же. С. 104—105.

[34] Любопытно, что редкостная метафора «ми глаголи звьнять» появилась в результате неправильного перевода греческого текста «Хроники»: «звенять» вместо непонятого переводчиками слова «уходят» (см.: *Матвеенко В. А., Щеголева Л. И.* Временник Георгия монаха... С. 396).

[35] Уже отмечалось, что дательным падежом в «Слове» представлены «конструкции, различные в смысловом отношении» (*Булаховский Л. А.* «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусского языка // Слово о полку Игореве: Сб. исслед. и ст. М.; Л., 1950. С. 163). Сочетание же глаго-

ла с «ми», превращающимся из местоимения в усилительно-выделительную частицу, называют еще дательным поэтическим или дательным заинтересованного лица (*Виноградова В. Л.* К лексико-семантическим параллелям «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. С. 149–152).

[36] Идейно-философское наследие Илариона Киевского. Ч. 1. С. 26.

[37] Еще одно произведение с обилием архаических словосочетаний глаголов с беспредложными существительными в дательном падеже – это служба князьям Борису и Глебу на 24 июля в списке XV в. (см.: Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 150–167). Однако еще надо выяснить, восходит ли список к тексту XI в.

[38] Сражения действительно начинались обычно с утра. См., например: *Перетц В.* Слово о полку Ігоревім... С. 210.

[39] *Робинсон А. Н.* Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья XI–XII вв.: Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980. С. 241, 255, 267, 302, 308. Из представления об архаичных литературных пластах «Слова о полку Игореве» исходит А. Л. Никитин в его книге «Слово о полку Игореве: Тексты. События. Люди» (М., 1998). В этой связи примечателен давний вывод языковеда, сформулированный еще в 1938 г.: «приходишь к заключению, что в "Слове" отразилась более архаическая стадия языка» (*Винокур Г. О.* К вопросу о языке «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: Комплексные исследования. С. 98).

[40] *Лихачев Д. С.* Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 10, 12, 13, 25 и др.

[41] ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. под ред. Е. Ф. Карского. Стб. 246–247.

[42] Успенский сборник XII–XIII вв. С. 51.

[43] В Библии копье у Голиафа блестит, как вода (Первая книга Царств, гл. 17). Ср. еще один, поздний случай – в «Хронографе 1512 г.» в статье «О Галияфе»: «в руку его мечь, яко вода, чисть» (ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22, ч. 1. С. 109). Не ясно, откуда это сравнение именно меча с водой (а не копья, как в Библии) попало в хронографическую статью о Голиафе, являющуюся пересказом «Хроники» Георгия Амартола, – ведь у самого Амартола нет такого сравнения (125), а влияния «Сказания о Борисе и Глебе» в данной хронографической статье не наблюдается.

[44] *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов. С. 34. Аналогия указана: Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 4. С. 13, 36.

[45] *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны... С. 274.

[46] Шестоднев, составленный Иоанном ексархом Болгарским / Изд. подгот. О. М. Бодянский // ЧОИДР. Кн. 3. М., 1879. Л. 66–66 об.

[47] *Истрин В. М.* Книгы временьныя... С. 443–444.

[48] Успенский сборник... С. 105.

[49] Летопись по Лаврентиевскому списку. С. 336; ПСРЛ. Т. 2. Стб. 553.

[50] «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / Тексты «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. М.; Л., 1966. С. 548, 549, 536, 541, 542, 551, 552.

[51] См.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 21—44.

[52] Обзор датировок и уточненную датировку см.: *Горский А. А.* Проблемы изучения «Слова о погибели Русской земли»: (К 750-летию со времени написания) // ТОДРЛ. Т. 43. Л., 1990. С. 19, 23—33.

[53] См. снимок рукописи: *Лопарев Х.* Слово о погибели Рускыя земли: Вновь найденный памятник литературы XIII века. СПб., 1892. С. 25—27. Далее текст «Слова» цитируется по изданию: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 154—155.

[54] Обзор точек зрения на понятие «погибель» и уточнение его смысла см.: *Горский А. А.* Проблемы изучения... С. 20—23; *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 114—117.

[55] Летопись по Лаврентиевскому списку. С. 157, 212, 220, 221, 247, 253, 254. Далее страницы указываются в скобках.

[56] Слово о полку Игореве. С. 48. Далее страницы приводятся в скобках.

[57] *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве»... С. 107, 104.

[58] *Истрин В. М.* Книгы временьныя... С. 199, 202. Далее страницы указываются в скобках. Благодарю В. А. Матвеенко за указание словоупотребления в этом памятнике.

[59] *Мещерский Н. А.* Указ. соч. С. 444. Далее страницы указываются в скобках.

[60] Повесть Поливия о скончании живота Епифана Кипрского // Успенский сборник XII—XIII вв. С. 278. Далее страницы указываются в скобках.

[61] Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI—XII вв. / Изд. подгот. И. Н. Лебедева. Л., 1985. С. 155. Далее страницы приводятся в скобках.

[62] *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. М., 1976. С. 67. В «Ипатьевской летописи» под 1111 г. встречается самое раннее перечисление стран как будто бы по дуге: «ко всимъ странамъ далнимъ рекуще: къ грекомъ, и угромъ, и ляхомъ, и чехомъ, дондеже и до Рима проиде» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 273). Но есть сомнения в раннем происхождении этой летописной статьи и данного перечисления: предполагаются «здесь безусловные следы редакторской работы середины или второй половины XIII в.» (*Никитин А. Л.* Основания русской истории: Мифологемы и факты. М., 2001. С. 71). Столбцы цитированного издания «Ипатьевской летописи» далее указываются в скобках.

[63] См.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 118—119.

[64] ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров. М., 1980. С. 38. Далее страницы указываются в скобках.

[65] Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. С. 4.

[66] Шестоднев, составленный Иоанном ексархом Болгарским. Л. 1, 3, 5, 5 об.

[67] ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. С. 392.

[68] ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. С. 200.

[69] В частности, в первоначальный текст, изъеденный заменами и вставками, было вставлено и именование «жюръ Мануилъ цесарегородскыи», который якобы опасался Владимира Мономаха. На самом же деле, так странно названный византийский император Мануил Комнин правил гораздо позже Владимира Мономаха, в 1143–1180 гг., и к Владимиру Мономаху не имел отношения (см.: *Лопарев Х.* Слово о погибели... С. 13–15). Наверняка в «Слове» имелся в виду «*кюрѣ* Мануилъ». В рукописи XV в. в слове «жюръ» буква «ж» написана неуверенно, выглядит очередной опиской писца и может быть прочтена как «ік» (то есть: «и и кюръ»). В рукописи XVI в. это место совсем искажено: «и иже Рамануилъ царьгородский» (см.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 156). О вставке упоминания Мануила как будто свидетельствуют аналогии из других памятников. Слово «кюръ» («кюр, кир» — господин) в летописных текстах стало употребляться, кажется, лишь с начала XIII в. (в «Лаврентьевской летописи» — под 1207–1208, 1217 гг.; в «Ипатьевской летописи» — под 1237 г.). Византийский император в «Слове» назван по главному городу страны «цесарегородскыи», а не как обычно — «греческий», и это опять ведет к XIII в. Ср. именование иностранных правителей в «Ипатьевской летописи»: «цесарь великыи Филипъ *Римъскыи*» (723. Под 1207 г.); «Иродъ *Ерусалимъскыи* и Неронъ *Римъскыи*» (869. Под 1269 г.).

[70] См.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 81–83.

[71] Там же. С. 61.

[72] *Лихачев Д. С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1989. С. 210, 220.

[73] Там же. С. 208, 214.

[74] «Житие Александра Невского» // *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 171. Далее страницы приводятся в скобках.

[75] «Галицкая летопись» // ПСРЛ. Т. 2. Стб. 785. Далее столбцы приводятся в скобках. Орфография древнерусских текстов здесь и далее передается с упрощениями.

[76] *Мещерский Н. А.* История Иудейской войны... С. 300.

[77] «Киевская летопись» // ПСРЛ. Т. 2. Стб. 576. Далее столбцы указываются в скобках.

[78] См.: *Лихачева О. П.* Летопись Ипатьевская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. Л., 1987. С. 237.

[79] Летопись по Лаврентиевскому списку. С. 140–141. Далее страницы приводятся в скобках.

[80] См. схему происхождения «Лаврентьевской летописи»: *Лурье Я. С.* Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. С. 58.

[81] *Лихачев Д. С.* Исследования по древнерусской литературе. С. 213.

[82] Ср.: *Демин А. С.* О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 278–285.

[83] Датировку произведения и сборников см.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 122, 81, 204; *Дмитриев Л. А.* Слово о погибели Русской земли // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 433. Фотографию рукописи см.: *Лопарев Х.* Слово о погибели... С. 25–27.

[84] «Слово о погибели Русской земли» // *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 154—155. Далее страницы указываются в скобках. Орфография передается с упрощениями.

[85] Ср.: *Горский А. А.* Проблемы изучения «Слова о погибели Руския земли». С. 18–38.

[86] См.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 30–31, 183.

[87] См.: Там же. С. 35.

[88] См.: Там же. С. 24, 182.

[89] См.: Там же. С. 81.

[90] См.: *Демин А. С.* О художественности... С. 242–241.

[91] Из последних атрибуций см.: *Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В.* Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Т. 35. Л., 1980. С. 106; *Клосс Б. М.* Краткая редакция «Задонщины» по Кирилло-Белозерскому списку // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. С. 88.

[92] См.: *Дмитриева Р. П.* Взаимоотношения списков «Задонщины» и текст «Слова о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. С. 199–263.

[93] См.: *Бегунов Ю. К.* Памятник русской литературы... С. 135–137.

[94] См.: *Лурье Я. С.* Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961. С. 164–165.

[95] «Задонщина» // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. С. 548. Далее страницы указываются в скобках.

[96] См.: *Дмитриева Р. П.* Взаимоотношение списков «Задонщины»... С. 262–263.

[97] Слово о полку Игореве. С. 54. Далее страницы указываются в скобках.

[98] См.: *Дмитриев Л. А.* Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. С. 407.

[99] *Дмитриев Л. А.* Вставки... С. 396.

[100] Там же. С. 412, 414.

[101] *Дмитриева Р. П.* Взаимоотношение... С. 260; *Дмитриев Л. А.* Вставки... С. 397.

[102] *Дмитриева Р. П.* Взаимоотношение... С. 228–229, 261.

[103] Там же. С. 263.

[104] *Дмитриев Л. А.* Вставки... С. 427–430.

[105] Там же. С. 407, 410.

[106] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 310, 341.

[107] *Дмитриев Л. А.* Вставки... С. 417.

[108] *Дмитриева Р. В.* Взаимоотношение... С. 226, 230.

[109] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 618, 620–621.

[110] *Дмитриев Л. А.* Вставки... С. 410.

[111] «Псковская вторая летопись» // Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. Вып. 2. М., 1955. С. 9–10.

[112] «Софийская вторая летопись» // ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 204.

[113] «Софийская первая летопись» // ПСРЛ. Т. 6. С. 16.

[114] Псковские летописи. Вып. 2. Страницы указываются в скобках.

[115] Летопись по Лаврентиевскому списку. С. 74.

[116] *Охотникова В. И.* Повесть о Довмонте: Исследование и тексты. Л., 1985. С. 193.

[117] ПЛДР: XIV – середина XV века / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. С. 452.

[118] См. стемму списков: Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. LXIII.

[119] См.: Псковские летописи. Вып. 1. С. XLIV.

[120] Псковские летописи. Вып. 1. Страницы указываются в скобках.

[121] Ср. беглые замечания об этом А. Н. Насонова и В. П. Адриановой-Перетц в кн.: Псковские летописи. Вып. 1. С. XLIV; История русской литературы. М.; Л., 1946. Т. 2, ч. 1. С. 395.

[122] См.: *Клосс Б. М.* Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980. С. 157–169. См. также: *Творогов О. В.* Хронограф русский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. Л., 1989. С. 500–501. Хотя А. Д. Седельниковым и Б. М. Клоссом было выдвинуто предположение о Досифее Топоркове как составителе «Хронографа 1512 г.», мы все-таки говорим более осторожно и неопределенно – о составителе его вообще, отличительной чертой которого явилась «неутомимость в разыскании источников и литературное мастерство, позволившее создать на их основе повествование безупречной композиции и – насколько это оказалось возможным – даже единого стиля» (*Творогов О. В.* Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 187).

[123] «Хронограф 1512 г.» // ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 224. Далее страницы указываются в скобках. Орфография передается с упрощениями.

[124] См. предисловие С. П. Розанова к изданию: ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. I–II.

[125] Среднеболгарский перевод «Хроники Константина Манассии в славянских литературах / Текст памятника подгот. М. А. Салмина. София, 1988. С. 152.

[126] См.: *Покровский Н. Н.* Афанасий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 1. Л., 1988. С. 74–75.

[127] ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 21, ч. 2. С. 662. Далее страницы указываются в скобках. Орфография передается с упрощениями.

[128] ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 526–527.

[129] См.: *Буланин Д. М., Колосов В. В.* Сильвестр // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. Л., 1989. С. 323–333.

[130] ПСРЛ. Т. 6. С. 133–134.

[131] См.: *Дмитриева Р. П.* Василий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 1. С. 114.

[132] Памятники старинной русской литературы. Вып. 4. СПб., 1862. С. 1. Далее страницы указываются в скобках.

[133] См.: *Дмитриева Р. П.* Ермолай-Еразм // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 1. С. 220–225.

[134] Повесть о Петре и Февронии / Изд. подгот. Р. П. Дмитриева. Л., 1979. С. 213. Далее страницы указываются в скобках.

[135] О ней см.: *Левина С. А.* Летопись Воскресенская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. С. 39–42.

[136] ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 255.

[137] ПЛДР: Вторая половина XV века / Текст памятника подгот. Е. И. Ванеева. М., 1982. С. 522, 536. Далее страницы указываются в скобках.

[138] ПЛДР: Середина XVI века / Текст памятника подгот. В. В. Колесов. М., 1985. С. 138.

[139] См.: *Охотникова В. И.* Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков // ПЛДР: Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 617–618, 620, 625; *Орлов А. С.* Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков // История русской литературы в десяти томах. Т. 2, ч. 1. С. 523–527; Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков / Изд. подгот. В. И. Малышев. М.; Л., 1952. С. 24, 27. Однако есть также указания на другого автора повести – иеромонаха Псковского Елеазарова монастыря Серапиона: *Ключевский В. О.* Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 315–316. Отрывки из Основной редакции повести далее цитируются по изданию: ПЛДР: Вторая половина XVI века / Текст памятника и перевод подгот. В. И. Охотникова. Страницы указываются в скобках. Ср.: «Надэтническое сознание в средние века» (*Лихачев Д. С.* Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л., 1989. С. 183).

[140] *Лихачев Д. С.* Избранные работы : В 3 т. Т. 1. С. 365.

[141] См.: *Орлов А. С.* Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. С. 526–527.

[142] О рыцарственном этикете в «Казанской истории» см.: *Лихачев Д. С.* Избранные работы... Т. 1. С. 368–369. Со ссылкой на наблюдения Э. Кинана.

[143] Ср.: «автор Повести знал польские грамоты, был знаком со специальной польской терминологией» (*Орлов А. С.* О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI–XVII вв. // ИОРЯС. СПб., 1908. Кн. 4. С. 362).

[144] О хронографической искусственности языка повести см.: *Орлов А. С.* Повесть о прихожении... С. 526.

[145] РГБ, собрание Ундольского, № 632. Полное описание сборника см.: *Орлов А. С.* Исторические и поэтические повести об Азове: (взятие 1637 г. и осадное сидение 1641 г.): Тексты. М., 1906. С. 12–13. «Задонщина» и другие произведения цитируются непосредственно по этому сборнику, листы указываются в скобках, орфография рукописи передается с упрощениями.

[146] Характерна здесь описка, так сказать, воинского содержания: певец воскладывал персты не на струны, а на *струпъ*: «...воскладоша горазныя своя персты на живыя струпы» (172).

[147] Под «книгами» могли пониматься сочинения, произведения. См.: *Творогов О. В.* О композиции вступления к «Задонщине» // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. С. 531.

[148] О проявлениях подобного подхода в XVI–XVII вв. см.: *Дмитриев Л. А.* Реминисценция «Слова о полку Игореве» в памятнике новгородской литературы // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 50–54; *Демин А. С.* «Слово о полку Игореве» и предисловие к «Хронографу» 1641 г. // «Слово о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI–XII вв. М., 1978. С. 87–94; *Рождественская М. В.* Об одной записи к «Зерцалу богословия» Кирилла Транквиллиона // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 190–194; *Демин А. С.* Отголоски «Слова о полку Игореве» в «Казанской истории»: (Гипотеза о промежуточном источнике) // ТОДРЛ. Т. 43. С. 124–130.

[149] «Мы можем понимать то, что нам несвойственно, что отсутствует у нас самих или даже противоположно нам... Наше понимание других культур зависит от объема накапливаемых знаний об этих культурах» (*Лихачев Д. С.* Заметки и наблюдения. С. 278–279).